

Глеб Иванович Успенский

Письма с дороги



Глеб Иванович Успенский

Письма с дороги

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=666075

Аннотация

«Письма с дороги» представляют собой самый крупный публицистический цикл очерков Успенского второй половины 80-х годов, проблематике которого сам писатель придавал большое значение; над окончательным оформлением этих «Писем» он много работал. «Письма» появились в результате поездки Успенского на юг, продолжавшейся с марта до середины июля 1886 года. Писатель ездил по Северному Кавказу, был на кавказском побережье, в Крыму, в Одессе, Севастополе; он путешествовал и по железной дороге, и на лошадях по станицам, и на пароходах по Кубани и вдоль берега Черного моря. Причиной этой поездки Успенского было стремление к более широкому и разностороннему изучению русского народа...»

Содержание

I. Веселые минуты	5
1	5
2	21
3	38
II. Дополнения к предыдущей главе	55
1	55
2	79
III. Люди всякого звания	82
1	82
2	93
IV. Мирошник	113
1	113
2	135
3	146
V. Человек, природа и бумага	147
1	147
2	153
3	162
4	178
VI. Обилие «дела»	192
1	192
2	201
3	212

4	217
5	229
VII. «Скучненько!»	230
1	230
2	241
3	247
4	259
VIII. Мелкие агенты крупных предприятий[47]	262
1	262
2	267
3	273
IX. Рабочие руки	278
1	278
2	281
3	287
4	292
X. «Трудовая» жизнь и жизнь «труженическая»	296
1	296
2	298
3	308
4	322
5	326
Примечания	332

Глеб Иванович Успенский

Письма с дороги

I. Веселые минуты

1

Волею фургонщика, доставившего меня в Новороссийск тотчас после того, как пароход Русского общества, на который я должен был сесть, благополучно отбыл к портам черноморского побережья, то есть именно туда, куда мне и следовало ехать, я обречен был пробыть в этом совершенно незнакомом мне городе ровно целую неделю, вплоть до будущего воскресенья, когда должен был прийти другой пароход того же общества. И, несмотря на то, что в этом городе у меня не было ни одного человека знакомых, на то, что была страстная неделя и что Светлый день я должен был провести в полном одиночестве, несмотря, наконец, на общее безлюдье, отличавшее тогдашний¹ Новороссийск, я все-таки был ужасно рад и счастлив, что извозчик запоздал, что он подарил меня этою тихою, бесшумною страстною неделей,

¹ 1886 год.

дал мне в эти семь дней освежиться от удручающей тоски, вывезенной из столицы, и осчастливил возможностью беспрепятственно впитать в себя те живые, к счастью радостные впечатления, которые уже дала мне живая русская жизнь за недолгий промежуток времени, проведенного в дороге от Петербурга до Новороссийска.

Все, все без разбора и без всякой критики радовало меня в эту поездку, потому что даже то, что я видел в вагоне, на станции и из вагона в окно, – все была *жизнь*, все напоминало, что Петербург еще не окончательный результат, к которому пришла вся русская жизнь, что есть еще что-то гораздо более интересное, именно – есть еще Россия, жизнь русского народа, жизнь всего этого разнокалиберного встречного населения – мужиков, баб, купцов, господ, духовенства – словом, всего, что вот опять я своими глазами увидел в течение переезда от Петербурга до Новороссийска. На что бы я в этот краткий промежуток времени, проведенный в дороге, ни смотрел, все было мне радостно видеть, все заставляло меня думать: «Слава богу! как я рад!»

Как видите, состояние духа было положительно необыкновенное: не то это была просто радость ребенка, только начинающего ощущать вокруг себя все разнообразие окружающей *жизни* и счастье чувствовать себя с ней неразрывным, или же – и это будет вернее – я просто был «рад», сознав себя, что я не умер, что я жив и что временное мое душевное изнурение было временное, не больше, что при малей-

шем прикосновении подлинной жизни согреется и моя душа, охладевшая в ледяном доме, называемом Петербургом.

Времена в эту пору для людей, обреченных пережить весь реформенный период в более или менее впечатлительном возрасте, были поистине изнуряющие душу. Перед самую мою поездку по России пришлось мне провожать одного из моих приятелей за границу, и вот какого рода болезненные разговоры вели мы с ним перед нашей взаимною разлукой.

– Да что же тебе за границей-то надо? – спросил я его в то время, когда в его номере, при помощи прислуги, шла укладка и упаковка его вещей для отправки на Варшавский вокзал.

– Да просто... очувствоваться! – сказал он растерянно и с каким-то тупым выражением лица.

Я понимал, что он не мог бы сказать мне в ответ никакого иного слова, да и сам знал, что вопрос мой ему – совершенно излишний и ненужный. И наш разговор на этих нескольких словах, вероятно, прекратился бы, окончившись крепкими и молчаливыми рукопожатиями, если бы одно совершенно ничтожное обстоятельство не дало моему приятелю возможности несколько подробнее выяснить смысл его хотя и понятного, но недостаточно определенного слова «очувствоваться».

Это ничтожное обстоятельство состояло в следующем: один из прислуги, занимавшейся укладыванием вещей,

обыкновенный коридорный петербургских гостиниц, подошел к комоду, чтобы вынуть из него все, что там осталось. Но оказалось, что комод заперт, а ключа нет. Коридорный ушел и скоро принес целую пачку ключей всевозможного рода: маленьких, больших, длинных, коротких. И все эти ключи, несмотря на свое разнообразие, беспрепятственно входили в один и тот же замок – так он был испорчен, «разворочен» и вообще искалечен во всех отношениях. Все ключи, большие и маленькие, входили в эту разломанную дыру, вертелись, кружились совершенно свободно, даже щелкали, а комод все-таки не отворялся. Наконец, выбившись из сил, коридорный ругнул этот замок и ключи и решил испытать последнее средство: взял и хлопнул кулаком по верхней крышке комода. И что же? Замок щелкнул на этот раз довольно певуче, и комод отворился.

Так как говорить нам с приятелем было почти не о чем, потому что слово «очувствоваться» исчерпывало все темы разговора, то и мы поэтому молча наблюдали всю эту возню коридорного с замком. Когда же вся операция кончилась, вещи были вынуты из комода и уложены, а коридорный ушел, мой молчаливый и отупевший приятель вдруг оживился и сказал:

– Я все смотрел на тот замок... и знаешь что? Вот точь-в-точь и сердце мое стало такое же, как и этот замок. Все ключи входят, и щелкают, и кругом поворачиваются, а никакого толку, никакого ощущения нет! Ничего меня за живое не

хватает, не берет. Какие хочешь принимай и делай реформы, мероприятия и в каком тебе угодно направлении, ничего не чувствую – ни радости, ни печали. Уж очень свободно, прихотливо, без всякой церемонии над моим сердцем похозяйничало наше время! Сколько туда за всю мою жизнь входило и влезало всяких ключей, веяний, течений, направлений!.. И все они хотели его отпереть совсем не в ту сторону, куда бы оно непременно отперлось само... Каждое из этих веяний и направлений, то длинное, как этот длинный ключ, то как ключ короткий, все норовили его отпереть на свой образец – то в одну сторону, то в другую, а то и так, зря, крутили кругом без всякого милосердия... Отпереть его просто, как говорится – «добром» и, прибавлю, для добра, никто не догадался или, вероятно; нельзя было. Ну теперь и верти сколько хочешь – не действует. Вот кулаком со всего размаху – это, пожалуй, так! Если кулаком царапнуть – ну, пожалуй, опять запоет жалобным звуком скорби, страха и мольбы. И, пожалуй, опять отопрется... хоть к стону и плачу... Кулак – не свой брат!

Мы оба улыбнулись этому сравнению, а приятель мой, не теряя оживления, продолжал:

– Как я рад... этому замку! Теперь я совершенно ясно и во всех подробностях понимаю, зачем я еду за границу... Именно сердце-то хочу оживить! Хочу поставить его в подлинную обстановку подлинной, какая бы ни была, только подлинной жизни! Там, я думаю, оно опять будет иметь право

чувствовать горе тогда, когда перед ним выйдет горе, и радость – когда радость его захватит... Мне надобно восстано-
вить в своем сердце и в своей совести право ощущать именно
то, что ощущать следует... Вот от этого-то я и отвык! Дума-
ешь обрадоваться, а приходится плакать – и так всю жизнь!..
Я совершенно отвык думать до тех пределов, пока работает
мысль, и чувствовать, пока чувствуется... И это всю жизнь
– чувствовать и не дочувствовать, думать и не додумывать,
говорить и не договаривать! Вот и надобно *очувствоваться*-
ся, пробудить деятельность сердца возможностью без опас-
ки смотреть на жизнь и о ней думать. Надо вновь узнать, что
такое добро и что такое зло... Ну, а у нас, то есть по край-
ней мере лично в моей жизни, разные веяния, направления
и течения постоянно заставляли меня менять взгляды на то
и другое. Сегодня это добро, а завтра это же самое уже злом
неискоренимым считается. Вот и затуманились представле-
ния и о том и о другом, и прекратилась возможность предпо-
чтения одного другому... Вот европейская-то жизнь, я и ду-
маю, оживит меня: добро и зло в ней ярки, на виду, открыты
и не прикрашены. Смотри и думай!.. А мне это и нужно...
Я хочу опять начать воспитывать свое отупевшее сердце с
азбуки... Как я рад этому комоду! Ведь надо же было это-
му случиться!.. Именно необходимо «очувствоваться», вос-
кресить право «чувствовать» и пожить с этим правом хоть
несколько месяцев. Вот зачем я еду!

Я совершенно понимал моего приятеля, но сам, собира-

ясь ехать по России, даже и мысли не мог допустить в себе о каких-то правах на оживление сердца. Я просто чувствовал, что необходимо ехать, чтобы только видеть вообще «жизнь». И в объяснение такой алчности исключительно только к тому, что совмещается в слове «жизнь», будет достаточным сказать, что перед этою поездкой мне пришлось почти безвыездно прожить петербургскою жизнью более полутора года. Если мой приятель имеет возможность указывать, в объяснение своего обесчувствования, на вторжение в его личную жизнь каких-то совершенно не соответствовавших ей веяний, течений и направлений, то я, в объяснение моей алчности к побегу из Петербурга, могу сказать только одно: потому я хотел бежать и смотреть на какую бы то ни было жизнь, что я измучился Петербургом.

Повидимому и, так сказать, по всем документам, Петербург должен бы быть, как столица, центром жизни всей страны, как Париж и Лондон. И он, точно, центр, только не такой центр, куда стекаются мелкие ручейки живой жизни страны, сливаясь в огромное, глубокое вместилище проявления всех жизненных сил нации. В Париже, Лондоне, и только в них, а никак не в дальних уголках Англии или Франции, можно видеть во всей полноте все, чем живут и дышат эти страны. В Петербурге же именно и не увидишь, чем живет Россия. Ручьи русской жизни, стекаясь сюда, сливаются не в открытое озеро жизни, которое едва можно оглянуть взором, но точно уходят куда-то под землю, в какие-то сталактитовые

пещеры канцелярий, департаментов, раздробляются еще на более мелкие ручьи, чем те, которые влились в него, и с каждым дальнейшим течением раздробляются всё на меньшие и меньшие струи и капли... В Чухломе, в Пинеге или Батуме можно гораздо многосложнее видеть русскую жизнь, чем видишь и чувствуешь ее в Петербурге. Француз-провинциал, у которого на душе накипели те или другие нужды, желания, едет в Париж, зная, что именно там он может проявить их во всей полноте и объеме. Обитатель Чухломы, подъезжая к Николаевскому вокзалу и медленно вдвигаясь в вагоне в темную его пасть, под темные его своды, чувствует, что именно тут-то и конец его праву желать, фантазировать и хотеть. В Чухлому будет «дано знать» в запечатанном конверте, как ему жить следует, а в Петербурге он ничего не узнает по этой части. Русская жизнь в Петербурге – это пакет с просьбой, жалобой, мольбой, угрозой, стоном и воплем. В пакете она сюда является, в пакете отсюда выходит. Что написано в пакете, который отсюда посылается в Чухлому, неизвестно – пакет запечатан. Не знает тот, кто печатал пакет, не знает тот, кто писал адрес, не знает и тот, кто переписывал бумагу, не знает и тот, кто бумагу составлял, не знает и тот, кто велел составлять бумагу. Тайна и смысл жизни идут из центра к окружности, а не вливаются от окружности в центр, и жить поэтому в Петербурге – это значит не знать русской жизни. Можно знать все указания «по русской жизни», но видеть в них самую жизнь в связи разрозненных яв-

лений, отметить ее главнейшие течения, ясно видеть, где и в чем сила, слабость, добро и зло, – здесь невозможно.

Мне могут сказать, что печать, «газета», не оставляет петербуржца без ежедневных уведомлений о русской жизни. Стали печатать листы в восемь столбцов, стало быть, есть о чем поговорить?

И будь я истым петербуржцем, я бы поверил, что «газеты» вполне достаточно, чтобы знать, как идет русская жизнь. Но, к несчастью, я не петербуржец, и еще более – к несчастью, судьба дала мне полнейшую возможность знать, что такое «внутренние известия» петербургских газет, покоряющихся главным образом интересам петербургского дня, не чуждых видеть «успех» в розничной продаже и радующихся наплыву объявлений о кухарках и кучерах, ищущих места, почти так же, как и успехам русской дипломатии. Возьмите любую из таких газет сегодняшнего дня и посмотрите, что там написано во внутренних известиях о внутренней жизни России? Во-первых, собственная корреспонденция из Корчевы о том, что в городе недавно был пожар, обнаруживший недостатки местного самоуправления, затем (мелким шрифтом) перепечатка из другой какой-нибудь газеты о том, что близ деревни Лукьяновки найден убитым мужик, только что продавший на базаре в ближнем городе пару телят, и третье (тоже мелким шрифтом) – редкий случай рождения семерых детей, которые все, к сожалению, умерли. Конечно, то, что здесь написано, не может служить образчиком «внутренних

известий» – известия могут быть самые разнообразные; но какие бы они ни были, всегда они имеют в общем одно неизменное свойство, именно: невозможность объяснить, почему напечатано то, что напечатано, и почему собственно вам, читателю, нужно знать именно то, что напечатано. Родилось семь детей – хорошо. Но почему же пишут именно о семи детях, а не о чем-нибудь другом? И почему из Корчевы, а не из Тифлиса?

Тайна сего не только не велика, а, к сожалению, крайне проста и незначительна.

Бывало, придешь в редакцию вечером, когда уже начинается сверстка номера, когда весь оригинал набран и ожидают только телеграмм, и принимаешься с прискорбием в сердце за внутренний отдел, за характеристику русской жизни в данную минуту. Материал выбран и вырезан господами редакторами отделов (внутреннего, политического, финансового, биржевого) еще утром. Полученные корреспонденции, одобренные редакцией, и бесчисленные вырезки из провинциальных газет уже набраны и лежат на моем столе целую грудой то длинных, то коротеньких корректурных полос. Глядишь на них и думаешь: «Какого-то хламу придется мне понадергать из этой сокровищницы?»

Зазвенел электрический звонок; надо идти в комнату редактора.

– Для внутреннего отдела, – говорит он, – сегодня, кажется, можно уделить строк восемьсот... Кажется, телеграмм

будет мало. Ничего особенного нет. Пожалуйста, побольше перепечаток. Денег у нас мало.

«Восемьсот строк! – с восхищением думаю я. – Вот это будет на что-нибудь похоже!»

И, роясь в материале, корреспонденциях и перепечатках, подбираю на восемьсот строк вполне благоприличного материала.

Ввиду рабочей поры как нельзя лучше составила весьма определенная картина положения рабочего класса. Подошла и собственная корреспонденция к этому вопросу, и вырезки из газет, и мелкие известия о случаях, касающихся этого же вопроса («не найдя работы, утопился или поджег чужой амбар» и т. д.). Словом, все известия отвечают главнейшему вопросу времени и во всяком случае для большинства читателей, как заинтересованных в вопросах рабочего времени, так или иначе поучительны или по крайней мере не лишни.

Восемьсот строк наполнены, и наполнены хорошо и поучительно.

Но вот опять звонит электрический звонок. «– Надо убавить на двести строк. Пришло пропасть телеграмм о тайных интригах англичан в Константинополе, о смерти мароккского императора и банкротстве в Мюнхене торгового дома... Да спросите в типографии, сколько объявлений?»

Прежде чем спросить об объявлениях, надобно вычеркнуть двести строк. Но газетные перепечатки неравномерны: в одной пятьдесят строк, в другой сто, в третьей семьдесят

пять – словом, надо что-нибудь придумать, если я хочу оставить собственную корреспонденцию невредимой. И вот я вынимаю целых триста строк (надо сохранить набор для будущего) и уже теперь недостающие сто заменяю такую перепечаткой, в которой как раз сто строк. Оказывается, что после корреспонденции о рабочем вопросе приходится поместить сто строк известия о скандале в клубе г. N, причем такой-то разбил такому-то физиономию.

Гармония «обозрения» нарушена, но оплакивать этого горя не приходится, потому что надобно еще узнать, много ли объявлений. Для этого необходимо подавить косточку звонка, проведенного в типографию, и ждать, покуда оттуда, изпод земли, явится уже не писатель, а совсем особенный человек с черными пятнами на лице (бледном и истомленном), с черными руками и хриплым, гробовым голосом.

– Много объявлений?

– Много-с!.. Сейчас вот от купчихи похоронное объявление приняли... Нарыдала она с горя строк на пятьдесят места.

– А так-то, вообще, сколько можно оставить для внутреннего?

– Да строк на триста... Да и то вряд ли... Фельетонист расскандальничался строк на двести лишку... Охаивает кого-то... А ведь вы сами знаете, Кузьма Иваныч, что издатель охотник до этого... Нарасхват пойдет номер!..

«Вот тебе раз!» – думаю я в сокрушении.

В одной корреспонденции оказывается четыреста пятьдесят шесть строк, и, следовательно, ее либо надобно урезать, либо заменить чем-нибудь другим. Но урезать корреспонденцию на полтораста строк невозможно. Необходимо ее отложить.

Вместо рабочего вопроса появляется таким образом корреспонденция из Корчевы о том, что вчера проехал преосвященный, затем следует ранее заготовленная перепечатка о драке в клубе и прибавляется еще перепечатка о камне, упавшем с неба. Итого получается количество строк «в обрез».

Но едва вы подумали, что дело кончено, как в редакцию является репортер. Он в страшных попыхах – только что случился огромнейший пожар на Лиговке, сторел укусный завод, один пожарный переломил ребро, и, кажется, погибла маленькая девочка. Происшествие «городское», и хроника, не заносщая на свои столбцы таких происшествий во всех мелочных подробностях, уже не хроника, и городской читатель не простит этой небрежности.

Для внутреннего отдела остается таким образом всего двести строк, и потому приходится оставить только корреспонденцию из Корчевы о проезде архиерея. Но разве это «отдел»? Что же тут «внутреннего»? Необходимо опять порыться в заготовленном материале и составить «известия» почти заново.

Отдел таким образом составляется из таких куплетов: драка в клубе, упавший с неба камень, механик-самоучка и

старик, умерший на сто двадцать девятом году, сохранив в целости все зубы.

«Кажется, всё?» – думается наконец. Но – увы! – электрический звонок главного редактора опять заиграл что-то и зовет вас.

– Скончался генерал Шомполов. Необходимо поместить некролог... строк двадцать пять. Пришла еще телеграмма: Кальноки² едет в Эмс. Патти простудила горло. Новая опера Гуно³ имела блестящий успех, и в Нью-Йорке была буря... Строк пятьдесят.

Стиснутый таким образом, с одной стороны, «городскими» событиями, с другой – кухарками, кучерами, телеграммами и т. д., внутренний отдел в конце концов представляет следующее плачевное зрелище:

С неба упал камень.

Умер столетний старец.

Крестьянин Егоров упал в колодезь вниз головой.

Пароход «Нептун» прибыл в Батум.

Актрисе Куприяновой в Саратове поднесли букет.

Вот она, внутренняя русская жизнь в ежедневной газетной живописи!

Но не думайте, чтобы заготовленный материал так и не пошел в ход, – нет, «набор не пропадет». Только о рабочем вопросе будет напечатано, когда он уже потеряет всякий ин-

² Кальноки Сигизмунд, граф (1832–1898) – австро-венгерский дипломат.

³ Гуно Шарль (1818–1893) – известный французский композитор.

терес, например в сентябре; известие о драке также найдет свое пристанище когда-нибудь, когда найдется ему два-три вершка свободного места. То же самое идет и по другим отделам. За репортером, прилетевшим с вестью о пожаре, может явиться другой репортер – музыкальный, и ему никоим образом нельзя отказать в отчете о бенефисе любимой актрисы: это – городские вести, которыми живет и дышит городской читатель. Но так как пожертвовать содержанием «внутреннего отдела» в пользу заметки о бенефисе уже нельзя, так как внутренний отдел и без того уже окончательно нелеп, то принимаются и за другие отделы. В некоторых известиях, например, был прекраснейший пересказ последнего парламентского заседания в Лондоне по аграрному вопросу; вот его-то и приходится отложить до предбудущего времени, а опроставшееся место заполнить восторженным гимном бенефициантке, настроенным репортером, еще не очухавшимся от бенефисного ужина у Понсе.

Даже и то, что пресса дает нам подлинно петербургского, местного, приказы о назначении, перемещении и награждениях, законоположения, изменения и дополнения – все это вместе с сумбуром «внутренних известий» не может быть приведено вашею мыслью ни в малейшую связь. Отставка генерала Куприянова, назначение Федорова на место Протасова так же для вас и вашей мысли чужды и не нужны, как и падение с неба камня и смерть старика. Политические европейские дела всегда неизмеримо яснее для вас и всегда име-

ют даже в поверхностных газетных извлечениях понятные и видимые исходные пункты и перспективы. И ничего подобного не видно относительно русской жизни.

Приняв во внимание, что и я не чужд был до некоторой степени тех душевных страданий, в которых исповедовался перед отъездом за границу мой приятель, что и в моей душевной изнуренности также не последнюю роль играли разные веяния и течения, и присоединив к этому характернейшую особенность собственно петербургской жизни, то есть особенность такого места, где о русской жизни ничего никому неизвестно, читатель, я надеюсь, поймет, почему я так жадно рвался видеть именно жизнь, почему мне было необычайно весело видеть даже ту жизнь, которую можно видеть из вагона и в вагоне, и почему, наконец, я был искренно рад, что возница мой опоздал к пароходу.

Он дал мне время «отдышаться», приучиться опять ощущать радость жизни вообще, и меня действительно радовало решительно все, самая мелкая мелочь, даже и то, что вовсе не порадовало бы при более тщательном внимании; но я не хотел, я просто даже не мог быть внимательным к чему-нибудь неприятному. Истомленное воображение само старалось за меня, само окрашивало все виденное исключительно только в розовый цвет.

2

Под влиянием такого-то душевного настроения какое чуднейшее впечатление произвело на меня пребывание в таком милом «месте», как Новороссийск! Я употребляю слово «место», не определяя его каким-нибудь более точным административным термином, потому что Новороссийск совершенно не напоминает ни города, ни села, ни станицы, ни деревни, а есть пока просто «милое», тихое, не беспокойное жилое место, которое, не имея ничего определенного в настоящем, дает вам полную волю мечтать, без всяких стеснений мысли, о его будущем. Впечатление, которое можно все-таки кое-как определить человеческим языком, это то, что Новороссийск – начало чего-то, зеленый стебелек, едва-едва показавшийся на девственной почве пустынного побережья.

Девственность, начало новой жизни на этих старых местах, опустевших после бегства горцев в Турцию, новая девственная растительность, до основания уничтожающая малейшие следы старины, – вот она-то и веселит усталое сердце в этих безлюдных, но обновляющихся жизнью местах. Пока еще греховодник-капитал не показывал сюда своего носа, по крайней мере в своих подлинных размерах, и не успел раздражить запахом своих приманок этой невинной земли и этого невинного воздуха, который обвеивает ваше лицо и которым дышат ваши больные легкие. И такая прелесть начи-

нает чувствоваться почти тотчас же, как только дорога, бегущая по кубанской степи, входит в предгория Кавказского хребта.

Кавказский хребет, подходя к Черному морю, как будто бы смиряется и затихает в своем бунтовстве: довольно он намудрил и напугал человека там, в глубине Кавказа; довольно он там намучил его своими ущельями (какое скучное слово!), скалами, высывающимися из облаков, ревущими реками и пропастями бездонными. Довольно он надивил, настрашал и навосхищал вас там, «в своих местах», теперь – будет! Там, в своих-то местах, он широко развернулся, самому небу доказал, на какие способен он чудеса, теперь же пора и отдохнуть. И, приближаясь к Черному морю, точно к дому, откуда ушел гулять по белу свету, он как будто отдыхает от своих чудовищных подвигов; идет он ровным шагом и тихо улыбается вам, встречному прохожему, мягкими, живописными очертаниями ничем не пугающих гор, живописных долин, глядя на которые с вершины этих смиренных высот, чувствуешь и видишь только одно, именно – как они хороши, живописны, и нет того головокружительного ощущения и мысли о возможности «помереть *не своею* смертью», которые с такою неистощимою любезностью преподносил вам на каждом шагу настоящий, головокружительный Кавказ.

Отличная, ничем не уступающая Военно-Грузинской, шоссе́йная дорога, начиная от станицы Небережайской (последнее жилое место по дороге от Екатеринодара в Новорос-

сийск), на протяжении около тридцати верст идет между этими смиренными горами, извиваясь поминутно такими же змеиными изгибами, как и Военно-Грузинская, но без всяких по коже подирующих свойств этой последней. Дорога эта совершенно пустынна; две почтовые станции да керосиновая передаточная станция (пробирается-таки греховодник!) – вот все «жилое», попадающееся на этом пути вплоть до Новороссийска. Но именно в этой-то пустынности и есть что-то необыкновенно девственное, освежающее. Молодая трава, цветы, деревья, изгладившие малейшие впечатления старины, радуют тем, что никто, повидимому, еще не пробовал топтать эту траву и цветы и никто еще не замахивался топором на эту юную растительность. Невинно, мягко, пушисто здесь все, в этих; смиренных и тихих горах.

В дни моей поездки, раннею весной, горы эти еще не были вполне опушены листвою; леса, покрывающие эти горы густою и частою, как шерсть, растительностью, почти еще голы; на темном фоне их только ярко золотятся желтые густые клубки распускающегося кизилия, а в долинах белеют, как снег, белым цветом дикие яблони: все еще голо, но голо целомудренною наготой, провеяно чистым весенним воздухом, в котором чувствуется еще свежая струйка где-то лежащего снега, и вообще все юношески свежо.

В такие-то минуты я поистине с содроганием «во всех суставах» заприметил в этих девственных местах явный след «греховодника». Заприметил я какую-то тоненькую, дюйма

в два в диаметре, чугунную трубочку, которая по временам стала показывать свою змеиную спину в разных местах этих девственных долин.

«А ведь пробирается-таки греховодник-то! Пробирается, анафема!» – с истинным ужасом и скрежетом зубов думалось мне всякий раз, когда мелькала железная спина железного червяка.

Увы, действительно пробирается железный червяк! Из рассказов фургонщика оказалось, что червяк этот уже довольно давно воткнул свой железный нос в недра земли верст за восемьдесят от Новороссийска, в станице Ильской, и уже давно высасывает эти недра. В предгорьях червяк этот поднимается от земли и лезет либо на пригорок, либо перегибается через вершину резервуара, откуда, при помощи парового давления, нефть гонится до самого Новороссийска через горы, и до Новороссийска же доползает и сам железный червяк. И здесь, по другую сторону бухты, против того веселого места, которое именуется Новороссийском, уже видны какие-то греховодниковы затеи: резервуары, заводы, черный, точно из ада, фыркающий, дым, – и нельзя не содрогаться всем существом, видя, что греховодник уже проложил дорогу. И насыпь железной дороги, к глубокому огорчению, кажется почти уже готова до самого моря! Пришел, пришел-таки греховодник! И было бы до глубины души обидно за эти девственные места, если бы не существовало некоторых преград, самою природой противопоставляемых успешному ше-

ствию греховодника и дающих некоторое право задумываться над таким вопросом: «Да удастся ли еще и греховоднику-то затоптать и замусорить здешние девственные места?» Кое-что есть и против замыслов греховодника, и на этом-то «кое-что» только и отдыхает душа.

Прежде всего оказывается, что не дает греховоднику ни проходу, ни проезду так называемый «трескун-камень». Железной дороге необходимо в двух местах пробиться через горы этого самого трескуна-камня, а трескун не пропускает. Станут его рвать динамитом – думают, он и в самом деле камень, а он, вместо того чтобы разваливаться глыбами, как бы следовало поступать настоящему камню, разлетается вдребезги пылью, рассыпается в муку и засыпает дорогу на том самом месте, откуда его хотели удалить. Если же случится дождь, то трескун мгновенно превращается в тесто, и тогда дорога оказывается залитой бездонною грязью, с которой ничего не поделаешь. «Хорошо, – подумалось мне, – поступает с греховодником трескун-камень! Смертоубийственно и вместе с тем кротко действует – это черта российская!»

Не менее ядовито поступает с греховодником и самое солнце кавказское. Какое оно чудное, животворящее! А тоже норовит подставить греховоднику ногу!

Здесь, на Кавказе, это ласковое солнце, как известно, творит чистые чудеса по части растительности. В год, в два дерево вытягивается в росте вдвое-втрое против роста того же дерева в средней или северной России. Но, вытягивая с та-

кою энергией соки для питания растения из земли, то же самое солнце с тою же самою энергией вытягивает соки и из самого растения и из его плодов, которыми оно обильно его одаряет. Говорят, что доска из здешней сосны или дуба, как бы хорошо ни была высушена, под палящими лучами солнца скоро коробится, трескается по слоям, если только не защищена чем-нибудь посторонним, например штукатуркой. Даже самый могучий дуб, по словам местных хозяев, не стоит в здешних постройках более трех лет: солнце, напоившее и накормившее его, вытянет из него потом все соки, расщеплет его, избородит трещинами, весьма удобными для поглощения дождевой влаги, которая, под теми же палящими лучами, испаряясь и тлея в мертвом теле дерева, способствует его окончательному уничтожению и разрушению. Говорят, что фрукты в горных лесах Майкопского уезда и Черноморского округа, рождающиеся в несметном количестве, также весьма не прочны; груши и яблоки на вид очень велики и очень крепки, но сорванные с дерева скоро портятся, и внутренность их истлевает в течение четырех-пяти дней.

То же самое (по рассказам случайно встречавшихся местных обывателей) происходит и с зерновым продуктом. Говорят, что хлеб, возделываемый по левую сторону от Кубани, то есть в самых благодатных местах предгорий, так же красив на вид, жирен, крупен и так же, как и все, растущее на здешней жирной земле и под здешним пламенным солнцем, недолговечен и непрочен; за здешним хлебом нужен посто-

янный и тщательный уход: проветривание, пересыпка, иначе он начинает кишеть паразитами и даже слипается в пласты. Крупные хлеботорговцы стараются купить такое количество хлеба, которое могло бы пойти в дело по возможности в скором времени, чтобы не держать это изнеженное зерно в амбарах, хотя бы этого требовали расчет и выгода. Изнеженное зерно не выдерживает продолжительного пребывания в амбарах и гниет. Кстати сказать, что это изнеженное зерно так не похоже на наше, притерпевшееся ко всем случайностям, что опытный хлеботорговец узнает здешнее зерно по одному только взгляду. Нет в нем нашей ржаной «строгости». И вот такой-то изнеженный хлеб, изнеженный лес, изнеженный фрукт и должен бы быть главным кормильцем и поильцем строящейся железной дороги, так как хлеба кубанских земель, лежащих по правую сторону Кубани, вероятно пойдут к Ростову, по крайней мере из северной части Кубанской области. Но уже в самой изнеженности всех этих товаров таится некоторое противодействие успехам греховодника, так как, кроме фруктов, леса и зерна, что же есть здесь другое? Есть, правда, скот и, вероятно, будет табак, но об этом я не могу сказать ничего определенного, хотя и сожалею, что греховоднику все-таки есть чем поживиться.

Однако же и это прискорбное обстоятельство значительно смягчается еще третьим, кроме перечисленных выше, препятствием грядущему греховоднику. И препятствие это пожалуй что будет поценнее всех вышеупомянутых: это – бух-

та. Она действительно похожа на котел и кипит, как котел на огне, когда начнет здесь свирепствовать норд-ост или поздешнему *бора*. Порожняки-извозчики, переезжая в такие бурные дни через горы, наполняют свои фургоны и телеги камнями, иначе ветер снесет их в овраги, перевернет и избьет как ему угодно.

– Иной раз бывает такая штурма, – говорил мне сторож на пристани Русского общества пароходства, – не приведи бог! По целым неделям не заходят пароходы: не пускает буря. И якорь не держит, дно каменное, не за что зацепить.

Рассказал он мне, что будто бы хотят (не знаю, кто именно) рвать горы, окружающие бухту, динамитом, чтобы «вроде как отдушины сделать для воздуху, а то как надавит его сюда, в котел-то, так точно ад кромешный раскрывается!»

Не знаю, была ли «штурма» в то время, как я разговаривал со сторожем на пристани, но, пока шел разговор, я должен был изо всех сил держать одною рукой шапку, а другою держаться за фонарный столб, потому что, на мой взгляд, ветер рвал как бешеный. Да и не только на пристани, а вот и в гостинице, все-таки на некотором расстоянии от самой «штурмы», и то приходится иметь с ветром беспрестанные столкновения! Где-нибудь отворят дверь, а ветер так ее затворит, что точно из пушки выпалит, и потрясет все здание. Покуда выбьешься из подъезда на улицу, необходимо иметь продолжительную дуэль с дверью подъезда, необходимо нападать на нее, собрав все свои силы, бросаться очертя голову

и вообще не бояться смерти.

Все это весьма меня радовало, и я с удовольствием подумывал о том, что, быть может, с божьей помощью, а также и с помощью трескуна, изнеженного зерна, неумолимой боры и капризной бухты – быть может, греховоднику-капиталу и не удастся замусорить этих девственных мест, не придется «почавкать» своею сладострастной пастью всякого свеженького мясца и «кровоушки свеженькой из девственных мест повыточить».

Много, много здесь весьма благоприятных условий для того, чтобы греховодник «не солоно хлебал» (так мне казалось), но, к несчастью, не меньше есть и признаков того, что греховодник идет, что он близко, что он уже разевает свою пустопорожнюю пасть, и охотников свеженькой кровоушки повыточить немало стремится в эти девственные места.

Еще по дороге к Ростову, затем на владикавказской линии и далее, по станицам и по большой конной дороге к Новороссийску, постоянно встречаются люди каких-то полутемных биографий, мечтающие и рассуждающие о Новороссийске. По разговору видно, что люди эти уже видали виды; бывали они в Бессарабии, и Петербург знают, да и в Ташкенте, в Закаспийском крае изучили положение дел и карманов и, убедившись, что вообще во всех виденных ими местах никакого карманного «толку нет» и что вообще все это «пустой разговор», в конце концов норовят «попробовать и Новороссийск». Иные из них откладывают эту пробу до того време-

ни, когда будет открыта железная дорога, а другие и теперь едут и обнюхивают новое место.

Едут какие-то восточного типа верзилы в фесках, с удрученной походкой, с беспомощно болтающеюся головой, как бы притягиваемую к земле тяжеловесным восточным носом; едут они сюда с каким-то непостижимым товаром, напоминающим обсахаренный мусор, взятый с улицы, с какими-то маленькими ягодами, перепачканными в обсахаренную грязь; но их верзильный рост и воловьи, с тупым выражением, глаза заставляют думать, что им не чужд и тот род коммерции, в корне которого таится коммерческий прием, определяемый словами «секим башка».

И жидок, нервный, напряженно внимательный, проворный, как ртуть, шмыгая по девственным местам из угла в угол, норовит прицелиться своим пронизательным взором к чему-нибудь свеженькому и сочному.

Наконец и наша великороссийская «бакалейная и мускательная» щетинистая рыжая борода по временам также сверкает здесь бураками своих молодцовских сапог.

Увы! Пришел-таки и разинул пасть. Выйдя с постоялого двора и перекрестившись большим крестом, она бодро отправляется разведывать и приценяться; там запускает она руку в воз сена: выхватит клочок, понюхает и даже пожует; там в горсти у нее окажется пшеничка, ячмень, овес; все это борода попробует на зуб, разгребет пальцем, подует и на руку весом прикинет, а потом крякнет и пойдет в заведение пить

чай, соображать и прикидывать «так и эдак».

Но пока все эти опыты всех охотников «свеженькой кроушки повыточить» не увенчиваются никакими положительными результатами. Сколько обнюхиватели новых мест ни упражняют своего обоняния – нет! пока ниоткуда еще не несет падалю. Напротив, все еще девственно, свежо и чисто. Попробуют они и «на зуб» и «на язык», и на руку привесятся, и глазом прицелятся, да с тем пока и должны отправляться в обратный путь, в какие-нибудь новые, уже тронутые «греховодником» места, например в Екатеринодар.

Этот город действительно уже тронут практическим человеком. И хотя железная дорога еще не открыта, но практический деятель уже свил себе здесь прочное гнездышко, и, глядя на «процветание» Екатеринодара, нельзя не порадоваться непроцветанию Новороссийска: бухта – слава создателю! – пустым-пустехонька; на пристани Общества пароходства всего только пять керосиновых бочек, с десятков лодок у берега, на самом берегу штук пять не введенных в воду купален – вот пока и все здешнее процветание. Вся синяя волнующаяся гладь залива, окаймленного девственными горами, пока, слава богу, чистехонька: ни лодочки, ни парохода, ни паруса! Ко всему этому ни у лодок, ни у купален, ни на пристани около керосиновых бочек нет ни единой человеческой фигуры: ходит ветер, да волны шумят, и никакой язвы покуда ниоткуда не видать...

Да и на берегу все, слава богу, честно и благородно: до-

мики стоят кое-где, «как бог привел»; живет ли кто в них – неизвестно; но все, благодарение богу, тихо. Амбарчики кто-то выстроил на «предбудущие времена», но «пока что», – а амбарчики заперты наглухо, и напрасно норд-ост стучит в запертую железную дверь и рвет железный висячий замок, – ничего еще в этих амбарчиках нет, а бог даст, так ничего и не будет!

– Что-то бог даст завтра! – оканчивая свой торговый день, говорит наш российский мужичок, выдвинувший в упор норд-осту и грядущему греховоднику-капиталу свой деревянный шалашик с надписью: «Кислощейное заведение с продажей квасу». И нельзя не согласиться с ним, что «завтра» для Новороссийска покрыто полным мраком неизвестности.

Этот «кислощейный» мужик и этот девственный Новороссийск чрезвычайно похожи друг на друга: мужичок выстроил на самом юру ветров шалашик из шести-семи нестроганных тесин, прилепил вверху навеса кислощейную вывеску, повесил на стену «патрет» и вид Афонской горы, поставил на тесину, заменяющую стойку, бочонок с квасом, три толстобочных стакана, пяток бутылок с квасом, перекрестился и вместе с своею «бабой» стал ждать, «что будет». До сих пор пока ничего нет: только норд-ост забирается ему под рубаху, вздувает ее пузырями на его спине. Что касается его «бабы», то и она пока имеет дело только с норд-остом: чуть вышла из будки, так ветром ее подхватит, раздует весь ее «сит-

чик» и того гляди умчит неведомо куда. Идут и наши земляки мимо кислощейной, да ветрено и пить холодного неохота «пока», а носастые азиаты, так те, проходя мимо, только косят глазами и на бочку и на вывеску. Так и проходит день; а часов в семь мужик с бабой выберутся из будки, заставят ее досками, помолятся на небо, поклонятся на все четыре стороны и идут домой, на фатеру, «пожевать» весового хлеба наместо ужина, идут и говорят:

– Что-то бог даст завтра!

А завтра тот же ветер, и все то же, что и вчера. Так вот Новороссийск и живет, ничего не видя «настоящего» сегодня и не зная, что бог даст завтра!

Сегодня, чтобы как-нибудь истратить целый праздный день, остающийся в моем распоряжении до прихода парохода, я задумал совершить целых пять дел и зайти в пять разных мест, полагая, что на эти пять дел уйдет все-таки хоть два часа времени. Задумал я пойти на пристань, на почту, на телеграф, в лавку купить чаю и, наконец, остричься.

После кровопролитной и продолжительной битвы с дверью подъезда, во время которой я два раза почти уже одержал победу и проникал на улицу, но тотчас же был вдуваем или даже вбиваем ветром вовнутрь гостиницы, точно так, как пулю вбивает шомпол в дуло ружья, – после всех этих мучений я в конце концов очутился все-таки на улице и здесь, оглядевшись, к крайнему сожалению моему увидел, что все пять мест, которые я задумал посетить, находятся тут же,

чуть не у самого подъезда, сосредоточиваясь таким образом все в одном месте: в двух шагах почта, еще два шага – телеграф, через дорогу «бакалейная и мускательная», а в десяти шагах и пристань. Все это при деятельном участии норд-оста я посетил не более как в пять минут, и мне оставалось одно утешение – парикмахерская, где уж наверное я пробуду минут пятнадцать и таким образом хоть эти пятнадцать минут отниму у совершенно праздного дня. Парикмахерская опять-таки оказалась «тут же», в двух шагах, и была также совершенно девственна; на дверях были нарисованы люди: одного бреют, у другого отворяют кровь – рисунки, как видите, почти столь же древние, как и византийские фрески. У самой двери на полочке стояли «банки» и лежали машинки для кровопускания – тоже инструменты, давно исчезнувшие из современной парикмахерской. В комнате было накурено, так как в ней от нечего делать и, очевидно, в ожидании, «что бог даст завтра», сидели разные люди восточного, еврейского и российского типа из числа «присматривающихся», «прицеливающихся глазом», пробующих и на язык и на зуб и вообще ожидающих у моря погоды. Делать им было, очевидно, ровно нечего, и они все свое внимание сосредоточили на мне и на парикмахере, который меня стриг; они так же, как и я, наклоняли голову в ту сторону, в которую парикмахер наклонял мою, делали такие же гримасы, какие приходилось делать мне, и даже делали замечания.

– Пожалуйста, уха барину не отрежь ножницам! – сказал

какой-то азиат. – Ты мне уха резал!

– Зачем нам ухо резать! Слава богу, кажется, на своем веку довольно практиковал!

Но и это занятие, к сожалению, весьма скоро прекратилось. Прекратил его я сам, испугавшись какой-то горчичницы, из которой парикмахер хотел что-то вылить мне на темя. Поблагодарив его за услугу, я поспешил уйти, и затем мне ничего иного не оставалось, как возвратиться в гостиницу, то есть сделать еще только два шага.

Гостиница пуста; кроме меня и какого-то черного человека, очевидно с полутемною биографией и таинственным большим узлом с таинственным товаром, сидящего в темном номере, никого нет. В зале накрыт общий стол и стоит открытое пианино; но никто не играет и никто ничего не ест. Лакей спит; поспит, встанет, обмахнет салфеткой лампу, графин, вздохнет и опять сядет к столу – дремать на своих локтях. Тишина мертвая; только ветер свищет в окнах, в дверях, в трубе, в заслонке, да кошка мяукает беспрестанно. Весь дом, в ожидании, «не будет ли чего-нибудь», предпочитает дремать и даже, кажется, спит. На площади перед окнами стоит один ломовой извозчик и идет один прохожий.

Надо спать. И спать здесь хорошо, да и проснувшись также хорошо себя чувствуешь: необыкновенно приятно побыть некоторое время в таком «месте», где ничего не знаешь о прошедшем, где нет ничего в настоящем и где поэтому не беспокоит мысль о будущем. Тишина, ветер – и ровно

ничего такого, что бы могло навести на какие-нибудь личные воспоминания о прошлом и предаться поэтому невеселым думам о всяких пережитых тяготах и бесплодно утраченных годах. Правда, приходили терзать меня и такие думы и воспоминания, но систематическое отсутствие впечатлений, упорная тишина, упорный шум ветра, пустота улицы и дома преодолевали напряженность мысли о прошлом и делали мысль совершенно свободной, вольной. А раз ей, этой изболевшей мысли, выпала на долю такая счастливая минута, не захочет она добровольно утомлять себя, умственно возвращаясь к покинутым воспоминаниям о тяготе жизни. Почувствовав себя на полной свободе, она, как птица, выпущенная из клетки, летит к свету и к солнцу.

Вот такое-то стремление овладело и моею мыслью, которой в этом милом «месте», именуемом Новороссийск, не за что было ухватиться, чтобы заскучать и затосковать, и потому мне стало припоминаться только то, что оставило в душе светлый след. А на мое счастье, одна только неделя переезда от Петербурга до Новороссийска, то есть одна неделя самого поверхностного соприкосновения с живою жизнью русского народа, уже много дала мне радостных минут. Об этих-то радостных минутах я и стал думать среди моего прекраснейшего и ненарушимого одиночества и, думая, ясно понял, почему мне стало теперь так весело на душе, почему меня так обрадовали и эти тихие горы, и этот «трескун», и нордост, и вообще все, что видел мой глаз. Была этому началу

радости серьезная причина, и заключалась она в следующем.

3

Наслушавшись в Ростове, на станции, разговоров между проезжими о том, что новая дорога от станции Тихорецкой до Новороссийска уже действует и что по ней уже ездят, хотя она официально и не открыта, я задумал и сам проехаться по ней и посмотреть на новые, не виданные мною места. Но при первой же справке у начальства оказалось, что поезда ходят только служебные, а пассажиров не принимают. Такой неласковый ответ начальства дал мне повод опять загрустить о чем-то.

Нужно сказать, что при всей моей радости видеть живую жизнь тоска, намучившая меня в Петербурге, постоянно мешала моим веселым впечатлениям в первые дни поездки. Маленькие радости поминутно омрачались привычною болью изломанного сердца, и на смену вот этой капельке тепла, живой радости – грубо надвигались черные и как лед холодные воспоминания. Мгновениями казалось, что в таком настроении и ехать-то некуда и незачем, и малейшая неприятность, даже простое неудобство положительно сокрушали и обессиливали, так как трогали уже изболевшие от черных впечатлений нервы, уничтожали надежду на что-нибудь радостное, обессиливали. Вот в такое-то обессиленное, близкое к полной тоске, состояние привел меня и такой пустяк, как отказ «начальства» в билете на проезд от Тихорец-

кой станции до Екатеринодара. Стало мне как-то непомерно скучно и тяжело, но это продолжалось по обыкновению только мгновение, тем более что и само провидение уже пеклось обо мне.

В то время, когда я шел разочарованный после разговора с начальством, на меня пристально и по-отечески смотрели ласковые глаза какого-то российского человека. Это был какой-то низший железнодорожный служащий в рабочей блузе, с бляхой и в черном картузе с белым позументом. Его доброе, мягкое сердце, вероятно, почуяло, что у меня на душе нескладно, что мне невесело, и он, как добрый человек, должно быть, подумал обо мне:

«Зачем ему начальник неприятные слова говорит? Лучше же ему приятные слова говорить, а не то что обижать!.. Все одно: на новую дорогу его не пустят, а ежели с ним по-приятному поговорить, так все же ему будет легче. Пойду-ка я ему поговорю по-прият-но-му-то!.. Пускай же он хошь повеселей... недоедет!»

Сообразив и обдумав все это, добрый человек кашлянул, поправил кожаный пояс, развеселил свое лицо и ласково сказал, подойдя ко мне с картузом в руках:

– Вы что такое, вашскобродие, у обера спрашивали?

Я сказал и спросил его:

– Дают ли по крайней мере на Тихорецкой-то билеты?

Добрый человек вместо ответа сделал такой вид (фыркнул в сторону и картузом закрыл пол-лица), что дал мне полную

возможность видеть, до какой степени рассмешил его мой нелепый вопрос.

– Да сколько вам будет угодно, столько вам билетов и дадут! – как бы оправившись от комического положения, в которое я его поставил, сказал он самым успокоительным и убедительным тоном.

– Будто дадут?

– И, будьте так добры, оставьте!

– Вот это славно!

– И сколько вам угодно! И очень просто! Как сейчас приехали, и сейчас взяли билет, и больше ничего – поезжайте с богом!

– Отлично!

– И ни боже мой, нисколько! А как будет звонок, тогда я прибегу за вашим чемоданчиком, извольте только помнить седьмой номер... И билетик до Тихорецкого возьму и место займу!

– Ну спасибо! Отлично!

Он так приятно говорил, что я тут же счел нужным его поблагодарить «в руку».

– А вы, – продолжал он, изыскивая новые способы проявить свою ласковость, – а вы извольте спокойно гулять, чай кушать. Или порциями чего-нибудь, что потребуется, и нисколько не опасайтесь! Сколько потребуется билетов, столько и дадут, и поедете с богом, приятным манером... Даже и насмешили вы меня, господин, вашими словами, ей-богу!..

Да сколько только угодно!..

– Ну спасибо, спасибо! Благодарю очень!

Приятные слова доброго человека дали мне возможность в самом приятнейшем расположении духа провести время в ожидании поезда, в таком же приятнейшем состоянии ехать всю дорогу до Тихорецкой, да и там, когда оказалось, что добрый человек единственно только из-за своей доброты создал легенду о раздаче билетов, и там мне не было скучно, потому что легенда была веселая и выдумана не под влиянием дурных побуждений. «Добрый человек!» – думалось мне, когда я окончательно убедился, что билетов нет и что вместо них только одна приятная легенда. За эту приятную легенду я и сейчас благодарен доброму человеку, потому что ей я обязан хотя и совершенно случайной, но в высшей степени радостной встрече с одною переселенческой партией крестьян.

Когда эпизод с легендой о билетах (просьба у начальника станции, обер-кондуктора, даже буфетчика и постоянные ответы: «Нет! Невозможно! Не допускается!») был совершенно закончен, то есть когда поезд ушел, станция совершенно опустела и мне пришлось искать себе ночлега, тогда, оставив свои вещи у сторожа, я вышел со станции на какое-то огромное пустопорожнее, безмолвное пространство и, оглядевшись, заметил вдали мелькание нескольких огоньков. На эти огоньки я и пошел. – Светилось, по русскому обычаю, в самом популярном и передовом во все времена и во всяком

месте учреждении – в кабаке. Рядом с кабаком был и трактир с «номерами», где мне пришлось взять комнату, так как на станции не было ни малейших удобств для приезжающих. Но номер был так мал, душен, грязен и вообще невозможен во всех отношениях, что, помаявшись в нем часа два, я не выдержал и вышел на улицу.

Было темно; тучи застилали месяц, который как будто силился выглянуть и высвободиться из этой темноты, но темнота упорно в этом ему препятствовала. Едва можно было разглядеть человеческие фигуры, длинным рядом сидевшие на длинной лавке у забора, примыкавшего к воротам трактира. Кое-как оглядевшись в темноте и заметив на конце лавки кусок свободного места, присел в компанию к этим неясным фигурам и я. На мое счастье, месяц вырвался-таки из тюрмы весенних туч и осиял всю окрестность на огромное пространство. Ясно очертились недостроенные корпуса будущей большой станции. Засверкали на двух-трех из нового теса сколоченных бивачных лавках золотые буквы вывесок, стали видны там и сям крыши бараков для рабочих и наскоро сколоченные помещения для служащих – вот и все, что осиял вырвавшийся из туч месяц. Никаких иных сооружений, кроме кабака и трактира, о которых я уже упоминал, на ровном бесконечном пространстве, очертившемся под сиянием лунного света, не было видно кругом. И несмотря на эту пустынную, к моему большому огорчению, уж и сюда набрело немало всякого случайного человека, который пле-

тется на будущие греховодниковы приманки со всех концов Руси и во все концы Руси. Месяц, осиявший окрестности, осиял и моих соседей, и я увидел сразу, что народ этот – низший сорт, но непреременный спутник греховодника, вторгающегося во все наши «непочатые углы». Должно быть, что города наши, где греховодник успел уже развернуться вполне, накопили этого темного народа так много, что он вынужден расползаться не только по селам и деревням, но даже и по таким пустырям, как то место, где мы теперь находились вместе с моими соседями по лавке.

Соседи эти по временам вставали с лавки и уходили в кабаки, и фонарь, висевший над дверью кабака, давал мне возможность довольно отчетливо рассмотреть моих соседей, их фигуры и костюмы: резиновая калоша на одной ноге, а на другой ничего, штанина, разорванная до колена, рукава каких-то разорванных во всех направлениях хламид, так же как и хламиды, разорванные до локтя, – вот костюмы, и ко всему этому охрипшие горла, сильные голоса. Разговоры этих охрипших людей были совсем не крестьянские, то есть не *о своих делах*, а как раз наоборот – о чужих; мои собеседники обсуждали положение дел, обозревали текущие события, «новости дня», как бы ища в этом материале чего-то подходящего. И опять-таки ужасно: «новости дня» даже и в таком-то пустопорожном месте, как недостроенная станция, уже изобилуют всякою несносною кляузой и мутью.

– Завтра, вишь, – хрипит и лает обозреватель тихорецких

новостей дня, – следователь приедет.

– Н-ну? – могильным голосом, в котором слышится испуг и даже ужас, не вопрошает, а как-то стонет человек в резиновой калоше. – Чего ему?

– Хайкину лавчонку будут обыскивать... Заклады берет, деньги дает пустяковые, а выкупить не позволяет, упирается. У Сашки серебряный порцыгар так-то пропал.

– А чепочку тоже Сашка-то закладывал?

– Эта чепочка у Михайлы пропала. Сашка не закладывал.

Обозреватели полагают, что Хайка непременно должна вывернуться, так как Хайка заручилась отличнейшим адвокатом. Вон уж и адвокат завелся на пустом месте, и на том же пустом месте завелось адвокату дело. И сколько дел! Вот хоть бы этот кабак: ведь кажется, что и стоит-то он на этом пустом месте без году неделю, а уж «дело» опутало его со всех сторон! По закону выходит так, что трактирщик должен сломать целых полдома, именно ту часть, где находится кабак. Если он полдома разломает, то поступит по закону. Если же не разломает и не перенесет кабака на законное расстояние, то он поступит против закона и должен ответить. Без адвоката, как видите, выпутаться невозможно, и адвокат, как я слышал от обозревателей «дня», изловчается. Он хочет оставить и кабак и трактир на том же месте, причем все выйдет «по закону». Будет дело поставлено так: теперь крыльцо в кабак прямо с улицы, и если мерить от станции до крыльца, то кабак будет противозаконный. Адвокат, оборо-

няясь бумагами, в то же время придумал следующее: дверь с улицы забить наглухо, а вход в кабак сделать сбоку дома из задних сеней. Таким образом, если смерить от станции до задних сеней, то окажется, что кабак имеет «против закона» еще преимущество на две с половиной сажени.

– Одно слово – башка! – хрипел обозреватель. – Здорово счистил с трактирщика, а уделает!

– Да, стоит!

Немало в самое короткое время наслушался я таких «новостей дня», и всё самого темного свойства; право, нельзя было не надивиться той поразительной быстроте, с которою «рубль» в столь короткое время умеет собирать вокруг себя такую пропасть всей этой мути.

Ведь давно ли, кажется, то самое место, где мы теперь сидим на лавочке, было все чисто и светло, и ничего здесь не было, кроме степной травы; но вот пришло «предприятие», запахло наживой, «оборотом», и уже все тут есть: «и часы пропали... и в залог принимает... и адвокат наживает... и следователь едет... и запечатывать хотят», а затем уж и суд и острог рисуются в перспективе. Какая пропасть «дел» и людей, которые живут «вокруг» этих дел! И какая скука от всего этого!

Опять затуманили мою голову тоскливые мысли, и я хотел было оставить моих соседей, господ обозревателей новостей дня, когда мое внимание было привлечено большой толпой простого народа, двигавшеюся по ярко освещенной

месяцем площади. Ближе и ближе – слышен звонкий и частый женский и детский говор и смех – и целая масса женщин с грудными детьми, молодых девушек и девочек, мальчишек и подростков лет по двенадцати проходит мимо нас, проходит с живым говором всей толпы, пискom ребят и смехом молодежи.

Дойдя до кабака, толпа остановилась, долго говорила тем чудным, общим говором, который приятен и радостен уже тем, что вам донельзя хочется проникнуть в его смысл, как хочется понять тайну того, о чем шумит река, о чем говорит лес, что творится в тайнах облаков и светлого неба. В этом говоре – не новости дня, а дело вечной, неумирающей жизни. Поговори у кабака про свои живые дела, толпа женщин прямо прошла в кабак, вытеснила оттуда всех оставшихся там посетителей и в одно мгновение заполонила обе его комнаты: одну, где пили водку, и другую – где стоял бильярд. Бильярд мгновенно был завален полушубками, кошмами, подушками, на которые бабы уложили своих детей, которых буквально были десятки. Скоро и на полу, и под бильярдом, и по лавкам – повсюду стали размещаться бабы, раздеваясь, молясь богу, нянчая и баюкая ребят. Как пчелиный улей, зашумел и зажужжал сразу сделавшийся тесным кабак, зашумел и зажужжал сотнею детских и женских звонких голосов.

Оказалось, что по ту сторону станции железной дороги, за полотном, разместились большая партия переселенцев. На ночь, для ночлега женщин и детей, переселенцы сняли по-

мещение у трактирщика в кабаке – по пяти копеек за ночь с человека, а мужчины ночуют около телег и лошадей в поле. Поговорить и порасспросить кого-нибудь из женщин о подробностях их переселения оказалось неудобным – все они устали, заняты были ребятами, и вообще им было не до разговоров. Волей-неволей пришлось отложить все разговоры и расспросы до утра, когда, по словам одной женщины, должны были прийти к ним мужики пить чай, брать воду. Нечего было делать, надобно было ждать до утра, и я, кое-как промаявшись ночь в моей клетушке, утром, часу в шестом, был уже опять на улице, уже разговаривал с переселенцами, и вот они мне что рассказали.

Они – бывшие крепостные крестьяне Кочубея, идут из Черниговской губернии, Борзенского уезда, в количестве ста восьмидесяти семей; идут они, конечно, от тесноты и недостатка земли, по направлению к Екатеринодару. В тридцати верстах от этого города, у некоего землевладельца г-на Воловика, купили они две тысячи десятин земли, из которых около двухсот десятин строевого лесу в предгорьях. Покупка эта сделана по публикации самого г-на Воловика, кажется в «Сельском вестнике». Прочитав эту публикацию, они отправили ходоков осмотреть место; ходоки осмотрели, нашли место удобным и дали владельцу десять тысяч задатка. Но так как покупка земли была не общественная, а единичная, и сто восемьдесят домохозяев покупали каждый отдельно и «по деньгам», то для окончания этого дела г-н Воловик сам

должен был (на счет переселенцев) приехать в Черниговскую губернию, в Борзенский уезд, и заключить с каждым отдельно особые частные условия, а затем все сто восемьдесят домохозяев, желая получить ссуду из Крестьянского банка, ходатайствовали об этой ссуде уже от имени целого общества.

За две тысячи десятин с лесом и пятьюдесятью избами (в этих избах жили, до покупки земли крестьянами, также крестьяне, только арендаторы; после продажи земли г-н Воловик перевел их на другой свой участок и будто бы хорошо вознаградил за постройки) они заплатили шестьдесят тысяч рублей; из них сорок пять тысяч рублей заплачены самими крестьянами, а пятнадцать тысяч, по семь рублей за десятину, дал Крестьянский банк. Количество купленной крестьянами земли распределяется между отдельными домохозяевами примерно так: самое меньшее – шесть десятин и самое большее – сорок. Откуда взяли крестьяне сорок пять тысяч наличных денег? Деньги эти получились от продажи земли на родине. Там они продали свою землю не менее 150 р. за десятину и до 200 р. Один переселенец продал только две десятины земли с усадьбой и взял за эту усадьбу две тысячи рублей. Денег от продажи земли и скота у них образовалось вполне достаточно для того, чтобы переселиться не с голыми руками; напротив, деньги на обзаведение, на покупку всего необходимого были у них в весьма достаточном количестве. Покупка состоялась в прошлом году, и тогда же, осенью, из Борзенского уезда они отправили на новую землю шестьде-

сят человек из своих товарищей, которые распахали часть земли под озимое, засеяли ее и воротились назад. Теперь, таким образом, переселенцы имеют уже хлеб на весь будущий год.

В Тихорецкой станции они очутились по тем же соображениям, по каким очутился и я, то есть думали проехать по железной дороге до Екатеринодара, но дорога не согласилась исполнить их желание, и они, несколько, впрочем, не унывая, живут здесь, ожидая прихода по железной дороге вещей и разной клади, несколько сот пудов, закупая у окрестных жителей лошадей и подводы для перевозки ее и семейств. Прежде чем приступить к этой покупке, они пробовали еще раз по телеграфу ходатайствовать у правления дороги о перевозке, но все-таки получили отказ. Кстати сказать, телеграф много сделал им добра, и они очень наострились им орудовать; все важнейшие операции – относительно г-на Воловика, Крестьянского банка и железных дорог – они обделывали по телеграфу без проволочек. Благодаря разумному ведению дела они добились того, что переездка от станции Плиски Курско-Киевской дороги до Ростова обошлась им всего по восемь рублей на взрослого человека и по четыре рубля на подростка.

Все эти сведения я получил, повторяю, уже на другой день, разговорившись с переселенцами, пришедшими к женам и детям. И рассказы их и сами они произвели на меня самое радостное впечатление.

Как видите, эта переселенческая партия – партия совершенно не нищенская; у нее есть достаток; есть все, что нужно; все дела свои она сделала умно, расчетливо, без умопомрачения и приехала именно туда, куда ей следовало приехать, а не колесит неведомо где, прося «Христа ради» под окнами, как это часто бывает с нашими переселенцами, идущими на «Белые воды». Почти все сто восемьдесят семей были семьи молодые. За исключением нескольких стариков и старух, принадлежавших к большим семьям, положительно все остальные мужчины были никак не старше 30–35 лет. Это было уже новое, послереформенное поколение крестьян; гораздо больше половины взрослых были грамотные, а подростки – грамотны все; вся толпа мужчин и женщин, парубков и дивчат была просто как на подбор: молодые, здоровые, ни капельки не забитые, без малейших признаков какого-либо ярма, которое когда-то лежало на них. Единственное, что было в их прошлой, недавней жизни тяжкого и неприятно вспоминаемого, это, кроме малоземелья, «пан» вообще и, к сожалению, рядом с паном «жид». Но теперь, избавившись от наемной работы и от жидовской кабалы, они вспоминали о том и другом не иначе, как в смехотворной анекдотической форме. На панской работе, – для потехи рассказывают они теперь, – кормят таким борщом, что когда остатки его выльют на землю, то всякая собака, которая подойдет и понюхает, начинает лаять и бесноваться – такой славный у этого борща запах и вкус!

– А жид?

Жид много делал зла, но и жидовское зло вспоминается теперь только в смехотворном виде.

Приходит крестьянин к жиду, просит рубль серебром в долг на один год и дает в заклад полушубок. Жид берет полушубок и говорит, что процентов на рубль в год будет тоже рубль. Мужик согласен и взял рубль. Но только что он хотел уйти, как жид говорит ему: «Послушай, тебе ведь все равно, когда платить проценты, теперь или через год? Теперь или через год – все равно ведь отдашь рубль?» Мужик соглашается с этим и говорит: «Все равно!» – «Так отдай теперь и уж не беспокойся целый год». Мужик и с этим соглашается и отдает рубль, чтобы уж совсем не беспокоиться о процентах. Отдав рубль, он приходит домой и без денег, и без полушубка, и в долгу.

А то вот и еще.

К шинкарю приходит крестьянин и просит в долг четверть вина: у него ребенок умер, надобно справлять похороны. «Деньги есть?» – «Нет, нет денег!» – «Ну, убирайся к чорту!» Мужик уходит, но через несколько минут опять возвращается. «Принес деньги?» – спрашивает шинкарь. «Нет, не принес... Я воротился попросить, чтобы ты хоть этой-то четверти не приписывал!», то есть не приписывал бы той четверти, которую мужик только заикнулся попросить.

В этом роде было рассказано множество преядовитых историй, но все они, рисуя действительно большую кабалу, бы-

ли в рассказчиках смягчены радостным сознанием того, что все это кончилось, осталось там, где-то далеко-далеко, и не повторится никогда.

Глядя на этих здоровых, свободных, не голодных, не холодных, хорошо, тепло, красиво одетых в самодельное и самотканное платье людей, слушая их свободную, остроумную речь, я решительно позабыл самое слово *музык*. Да, это настоящие *свободные люди* – именно *люди*, независимые вполне, так как над ними нет теперь даже ненавистного жида. Это несомненно была счастливая, редкая встреча, но благодаря ей я мог опять вспомнить самое важное и самое главное, что таится в самой сущности строя народной жизни.

Этот строй и эта сущность затемнились для нас народным расстройством, неурядицами народной жизни, не зависящими от народа, и вместо важного и главного нас в народе поражают и останавливают наше внимание его невольные уклонения от этой сущности, раны и язвы, покрывающие ее, которые мы часто смешиваем с не замечаемой нами сущностью типа народной жизни, делаем признаком особенностей народной жизни то, что в сущности составляет только признак ее уродства, болезнь, а не самую сущность. Нищета, умственная робость и темнота, забитость, стонущая беспомощность растерянного человека, кроткая покорность безжалостной судьбе – никаких таких весьма, впрочем, обычных для нашего крестьянина искажений его человеческой личности не, было в той большой толпе крестьян-переселен-

цев, которая мне встретилась, и вот потому, что, быть может, случайно на их долю выпало счастье освободиться от всех этих язв, вовсе не составляющих непременно принадлежность жизни трудового народного типа, – сущность-то этого народного типа жизни и выяснилась предо мною во всей своей широте и прелести.

Не «мужики» были предо мною, не труженики, не подвижники, не самоотверженные или подвижнически целомудренные существа, наконец вообще не взрослые дети – нет! а только *свободные, независимые* люди. Каждый из них, выражаясь словами кольцовской песни, *слуга* самому себе и *хозяин* самого себя⁴, то есть сам вдвойне слуга и хозяин вместе, не хозяин над кем-нибудь, как все в обществе, живущем в условиях, установленных греховодником, и не слуга кому-нибудь, как также непременно все, живущие в том же греховодническом обществе, но сам-друг, сам вдвойне – слуга и хозяин, то есть человек, существующий не налагая ни на кого никаких пут и сам не запутанный никакими и ничьими путами.

Не «мужик» уже интересовал меня в том, что теперь я видел перед глазами благодаря встрече с свободными и независимыми людьми, но уже открывалась как бы самая тайна желаний измученного человека вообще, очерчивался тот «образ» человеческой «жизни», жажда которой, несознан-

⁴ ...*слуга...* и *хозяин...* – слова из стихотворения А. В. Кольцова «Песня пахаря» (1831).

ная, несмелая, таится в глубине души всякого человека, живущего в наши дни. И вот почему мне стало так весело.

II. Дополнения к предыдущей главе

1

Под впечатлением описанной встречи я тогда же в особой статье подробно объяснил причину той радости, которую я ощутил в душе благодаря этой встрече; в идущих на новую трудовую жизнь семьях, так счастливо обставленных в материальном отношении, мне очертился в такой ясности и полноте, как этого до сих пор не случалось, образ жизни *свободного* человека, тот образ жизни, о котором тоскует мысль и совесть человека, измученного современным строем культурной жизни, в которой есть все, кроме свободной личности и свободной совести.

Тогда же я привел кое-что из имевшихся у меня под руками материалов, доказывавших, что в европейской жизни данной минуты слышатся голоса, вопиющие против существующего строя жизни и ищущие выхода для закабаленной этим строем человеческой личности и совести. Я привел тогда слова одного английского крупного капиталиста, сказанные им на каком-то митинге и опубликованные в газете «Standard»⁵, которыми он так характеризует свое *плачевное*,

⁵ ...слова... в газете «Standard»... – В ранней редакции этого текста Успен-

как капиталиста, положение в целой цепи таких же плачевных положений окружающего его общества: «Мы – только крошечные звенья в огромной цепи *ужасной организации*, и только полное расклепание этой цепи может действительно *освободить нас* (богатых-то фабрикантов!). Сознание беспомощности наших индивидуальных усилий (выйти из тисков этой ужасной организации) заставляет нас (хозяев) принимать деятельное участие *в агитации против собственно-го нашего класса* – агитации, которая, если будет успешна, лишит нас нашего положения капиталистов. Пожертвовать этим положением, я думаю, *не покажется нам тяжелым*, если мы верно оценим то благо, которое при изменении этих порядков получит общество, и те многочисленные дары, которых не купишь за деньги. *Видеть конец нищеты и роскоши*, найти досуг и утонченные удобства жизни среди тех, которые выполняют черную работу, видеть чистое, здоровое искусство, развивающееся *невольно* из этого счастья жизни, видеть нам милые острова, освобожденные от следов унижающей борьбы (труда и капитала) – борьбы за насущное существование и борьбы за богатство, – разве участие в подобной жизни и удовольствие чувствовать, что *все мы* участвуем в поддержании такого порядка жизни, – разве все эти радо-

ский указывает источник, откуда он взял эту цитату, – из «Письма в редакцию» Постороннего (Н. К. Михайловского), напечатанного в «Отечественных записках», 1884, III. Михайловский в свою очередь воспользовался цитатами из отдела «Внешних известий» (корреспонденция из Лондона от 19 ноября), напечатанных в «Новом времени», 1883, № 2783, 26 ноября.

сти могут быть похожи на те, которые можно приобрести за какие бы то ни было деньги? Мне кажется, *что в настоящее время богатые люди пытаются купить жизнь вроде этой, стремясь окружить себя, при помощи громадных расходов, призраком порядка и довольства, но в результате за все эти деньги получают один мираж*». Далее оратор говорил, что он уверен в предстоящей перемене строя жизни; что *пробуждение совести богатых и состоятельных есть лучшая гарантия против насильственного переворота* и что вообще порядок, о котором он мечтает, по его словам, уже *нарождается*.

Какой же этот порядок, какой строй жизни? Общее счастье – возможно; указания на это есть в народном строе жизни – не в мужицком невежестве, тьме, голоде и холоде, а в *строе*, плане жизненного крестьянского обихода, жизненного порядка, устраняющего расстояние между хозяином и работником.

Тогда же, в подтверждение того, что в европейском культурном обществе стремление к *освобождению* из неразрывной цепи *ужасной* организации отражается именно в проповеди народного типа жизни, то есть проповеди *трудовой жизни*, а не трудовой каторги из-за хлеба, я привел речь поденщика Джозефа Арча⁶ в английском парламенте – речь,

⁶ Арч Джозеф (1826–1919) – английский политический деятель, руководитель и организатор сельских рабочих в Англии; с 1885 года – депутат палаты общин. «Три акра и корова» – его требование от правительства небольшого земельного надела для всех сельских рабочих.

которую с полным вниманием «слушали герцоги и лорды» и не могли не задуматься над глубоким ее смыслом. Этот оратор – простой поденщик, с детских лет прошедший всю нужду рабочего человека. Вот какой у него вид: «Большая голова с широким лбом; глаза, добродушно смотрящие из-под нависших бровей; несколько горбатый нос; густые с проседью волосы и борода; атлетическая грудь, при слегка согнутой спине и больших грубых руках – словом, типическая фигура человека, для которого физический труд составляет привычное занятие. Это и есть Джозеф Арч, *первый представитель земледельческого сословия, которое только теперь*⁷, со времени завоевания Англии норманнами, *начинает понемногу подниматься в смысле общественном и экономическом*». «Этот депутат, вынужденный и в депутатском звании кормиться трудами своих рук, всего лет десять тому назад жил исключительно земледельческим трудом, странствуя как работник по всей Англии в течение двадцати лет». Во время этих странствований он брал с собою только мешок с необходимым платьем и двумя-тремя книгами, спал где придется, питался черным хлебом. За это время Арч по собственному опыту узнал всю тяжесть положения рабочего человека, и вот, благодаря новому гладстоновскому избирательному закону придя в парламент, стал проповедовать здесь «трудовую жизнь» как выход из всех зол ужасной организации; он стал проповедовать крестьянский строй жизни,

⁷ Цитирую из «Недели», № 8, февраль 1886 г.

а не махорку, как это иной раз, конечно, по недоразумению, проповедуем мы, – не серые щи, не спасенье под лавкой, не подвижничество в нищете и каторжном труде, а именно трудовую *жизнь*; он потребовал не много и не мало – *три акра земли и корову на каждого человека, живущего в Англии...* И несмотря на это нешуточное требование, широта идеи, лежащая в этом требовании Арча, и ее значение в *освобождении* всего общества от «ужасной организации жизни» так велика, что над ней не могут крепко не задумываться высокопоставленные сотоварищи крестьянского депутата. «Достоинство и скромность этого поденщика, который еще недавно по 12–15 часов рылся в болоте, чтобы заработать несколько шиллингов, сделали его любимцем парламентских сочленов, и герцоги и лорды охотно слушают его речи и даже включают в свои программы его девиз – *три акра и корова*».

Многозначительность для всех слоев английского общества этой, повидимому, очень умеренной программы крестьянского депутата очень скоро обнаружилась в весьма рельефных фактах живой действительности. В уличных беспорядках⁸ по случаю безработицы, в народных кварталах Лондона требование трех акров и коровы провозглашалось народными голодающими массами во всеуслышание. Вожаки, призванные в суд, ссылались в свое оправдание на Чембер-

⁸ *Уличные беспорядки.* – Имеются в виду рабочие волнения в Англии в январе – феврале 1886 года, начавшиеся в Лондоне и охватившие ряд провинций; они были вызваны безработицей и растущей нищетой среди рабочего населения.

лена⁹, который, будучи министром, сам стоял за требование Арча и указывал на эти три акра именно как на «исход» из пут «ужасной организации». Чемберлен, призванный также на суд в качестве свидетеля, имел мужество публично подтвердить слова вожаков уличной толпы, и таким образом у людей, вполне разъединенных общественным положением, мысль об исцелении от зла оказалась одна и та же и, стало быть, одинаковое качество нравственного страдания.

Вот каким, имевшимся под руками в ту пору, материалом мог я подтвердить читателю многозначительность впечатления, полученного мною при непродолжительном столкновении с крестьянскими семьями, по счастью наделенными всеми средствами для того, чтобы *жить* именно такую жизнь, которую современный культурный человек *как бы хочет купить на деньги*.

В то время не было у меня под руками другого «печатного» материала, который бы рисовал тяготу современного культурного строя жизни и указывал бы выход из нее в очертаниях той жизни, которая так пленительна в крестьянстве. Теперь, когда я занимаюсь пересмотром и переработкой старых корреспонденции, оказывается уже возможным подкрепить ранее сказанное кое-чем новым, что также можно найти под рукой.

Прежде всего я позволю себе сделать небольшое извле-

⁹ Чемберлен Джозеф (1836–1914) – английский политический деятель, консерватор.

чение из фельетона «Русских ведомостей», в котором пересказывается содержание книги Летурно «Evolution de la morale»¹⁰.

Определив, согласно сущности современного строя жизни, мораль этого строя названием индустриальной, меркантильной, а «по-нашему», «попросту», купонной, Летурно говорит: «Мы еще далеко не отделались от нравственной низменности, дикости, грубости и варварства наших предков. *Правда, в современных европейски-организованных обществах нет уже ни рабства, ни крепостного состояния, в том специальном смысле, какой имели эти слова в прошлом, но, несмотря на это, имеем ли мы основание оглашать воздух гимном освобождения?* Разве беззаконие, бесправие и угнетение личности действительно стали достоянием прошлого? *Вовсе нет! Они только приняли иную форму, стали замаскированными. Законность, справедливость, равенство существуют только на словах, в отвлеченных гуманитарных формулах, на практике же их не оказывается ни в сердцах, ни в действиях...* Правосудие наше еще насквозь пропитано духом возмездия и мщения, живо напоминающим нам поросшую мохом древность. В нашем языке еще продолжают пользоваться полным правом гражданства такие, например, архаические выражения: «правосудие удовлетворено», «воз-

¹⁰ Летурно Шарль (1831–1902) – французский этнограф и социолог-популяризатор. Успенский воспользовался изложением содержания книги Летурно «Эволюция морали» в статье «Из области морали. Развитие морали», напечатанной в «Русских ведомостях», 1888, № 63, 4 марта.

даяние преступнику по заслугам» и т. д. Очевидно, правосудие еще играет у нас роль разгневанного существа, имеющего в виду не только защиту общества, но также и социальное отмщение. Моногамия господствует повсюду, что, однакоже, нимало не мешает нам смотреть на проституцию как на самое обыкновенное, самое естественное явление. Детоубийство сурово наказывается законом, но тем не менее втайне, под покровом лицемерия (а мы прибавим – и необходимости, *неизбежной* в этом строе общества), оно практикуется на очень широкую ногу. Убийство считается тяжким преступлением, а между тем теперешние цивилизованные народы то и дело предаются «бранной потехе», устраивают грандиознейшие массовые боины, заливают землю широкими потоками дорогой человеческой крови. Вопиющие социальные неравенства всякого рода на каждом шагу бьют в глаза в наших обществах. *Благодаря господству индустриализма и меркантилизма получается та возмутительная социальная нелепость, что не продукт существует для человека, а человек для продукта»...*

Я позволю себе на одну минуту прервать эту цитату и напомнить читателям разговор мой с раскольниковым¹¹, случайно встреченным мной во время поездки по Волге в прошлом (1887) году¹². Ни я, ни раскольник и в глаза, как говорит-

¹¹ ...разговор мой с раскольниковым... – в очерке Успенского «Из путевых заметок» («Северный вестник», 1887, XI); в Сочинениях – очерк «Пока что».

¹² «Северный вестник», № 11, 1887 года.

ся, не видали произведения Летурно, а между тем здравый, светлый ум моего простонародного собеседника почти *буквально* теми же словами, как и Летурно, определил строй современной культурной жизни и значение в этом строе капитала.

– Железо-то, – говорил он, – оживает от прикосновения капитала. Железу от него хорошо! До прихода капитала оно лежит мертвое под землей, а пришел он – и ожило и заиграло по свету! А вот человек-то, который жил на свете своим домом и сам себе был слуга и хозяин, с появлением капитала начинает превращаться из хозяина в работника, из существа мыслящего – в существо механически действующее, в рабочие руки...

Надобно знать и ценить внутреннюю красоту трудового строя жизни, чтобы простым светлым умом понять всю «некрасоту» строя жизни купонного, меркантильного. Одно знакомство и близость раскольника к народной, «хозяйской» жизни крестьянина дали ему возможность с точностью указать все те изъяны меркантильных порядков, которые отметил ученый человек на основании долгого изучения своего предмета.

«Салариат, – говорит Летурно, продолжая характеризовать порядки наших дней, – наемничество является *новой* язвой, сменившею язвы рабства и иных былых форм *зависимости человека от человека*. Число бедняков, пролетариев с каждым днем все растет и растет. Миллионы неимуше-

го люда прозябают и гибнут в крайней нищете. Современный наемный рабочий свободен только *de jure*, но не *de facto*; он не угнетается непосредственно, как в былое время рабы или крепостной, но зато он оказывается вполне беспомощным, предоставленным на произвол судьбы, так как практика современной индустрии уничтожила всякую нравственную, человеческую связь между рабочим и работодателем. Юридически рабочий давно уже перестал быть вещью, как это было в эпоху рабства, и превратился в свободного гражданина; но житейская практика все еще продолжает не признавать в нем человеческой личности: как известно, в индустриальных странах представители труда зовутся обыкновенно не рабочими *людьми*, а просто-напросто рабочими *руками*».

Не знаю, можно ли сомневаться в том, что строй жизни современного культурного общества изображен верно и справедливо, и что мрачные краски, которыми автор его изображает, вовсе не преувеличены. А если это так, то как же не испытывать глубочайшей радости, если знать и воочию видеть, что на наших глазах жизнь человеческая может идти совершенно по другому плану? О том же совсем, совсем другом строе жизни мечтает современная европейская женщина культурного общества. Об этих неясных мечтаниях и в то же время о совершенно ясных, отчетливо слышных воплях женщины современного общества свидетельствует недавно

вышедшая книга «К решению женского вопроса»¹³. Об этой книге со временем я желал бы поговорить более подробно, чем могу сделать это теперь. Но и теперь я должен сказать о ней несколько слов – для того, чтобы читатель видел, что собственно заставляет изнемогать современную женщину и какие формы общественной жизни могли бы дать ей возможность ощущать себя «человеком».

Книга эта, состоящая из переводных статей, написанных почти исключительно женщинами, несмотря на то, что написана без всякой системы и плана и есть только вопль, жалоба, даже крик измученного человека, тем-то и должна быть дорога всякому задумывающемуся над вопросом, как жить и что делать, что в этом несистематизированном крике и жалобе слышится настоящая, неприкрашенная беда, горе человека, изнемогающего в железных условиях жизни, не дающей возможности жить по-человечески.

Тот же меркантильный, купонный строй жизни, который раздробил мужской пол на тысячи разновидностей, сделал то же самое и с женщиной. В трудовом строе жизни всякая женщина – только женщина, или всякая баба – только баба, в купонном же, напротив, не все женщины одинаковы: в нем могут быть женщины семейные, могут быть вечные девственницы, которым нет возможности быть матерями, могут быть проститутки, то есть вечные не-девственницы и не-матери; могут быть здесь хозяйки и слуги, могут быть совершенно

¹³ «К решению женского вопроса», СПб., 1888 г.

не трудящиеся и изнуренные трудом; могут быть утопающие в роскоши и изнемогающие от нищеты. Словом, женщина в культурном строе не может быть женщиной, *как все*, не замкнутою в какой-нибудь тесный, душный круг роскоши или нужды, семейства, кухни или публичного дома, вечной оргии или вечного труда. И вот такая измученная, одинаково не живущая всею полнотою своих сил и нравственных побуждений, как в высшем обществе, так и в трущобе, в публичном доме, как и в роскошной тюрьме старика миллионера – мужа, вот она-то, женщина, не живущая по-человечески, вопиет именно о желании полноты жизни, которой не дает теперешний строй жизни и которой он *не может* дать.

Книга, о которой мы говорим, доказывает, что невинность и чистота, огражденные «вынужденным позором» от всяких неблагоприятных случайностей греха, также вопиют о своем горе и ужасе своего ненормального счастья: «невинность», слишком устраненная от общей жизни, от ее горя и радостей, терпит страшное разочарование, когда поступает во власть мужчины, мужа, уже потерявшего уважение к женщине, раз он мог, для ограждения невинностей, покупать других женщин, раз он уже попробовал безжалостного к ним отношения. Его опрошенный взгляд на женщину, на жену, вовсе не подходит к тем возвышенным требованиям, в которых воспиталась его жена, огражденная от греха «вынужденным позором». Ее не понимает муж, она не понимает мужа.

И вот такой-то крик идет из всех «вынужденных» поло-

жений, в которые, как и мужчина, поставлена современная культурная женщина. Если бы нужно было в коротком и сжатом виде передать сущность женского протеста, раздающегося из разных не похожих друг на друга замкнутых положений, в которые поставлена современная женщина меркантильного общества, то можно бы выразить этот протест в такого рода, повидимому, немногосложном виде: все разновидности женщины – замкнутой в кухню, не знающей работы, знающей работу и неусыпный труд, огражденной от греха и погрязающей в грехе и т. д. и т. д., – вопиют прежде всего *о праве быть только женщинами*, просто женщинами, не невинными или виновными, обеспеченными или голодными, а просто женщинами. Это – первое, самое громкое и вопиющее требование, а второе, уже вполне человеческое, это – требование неразрывной нравственной и трудовой связи в совместной с мужем жизни; третье, еще более важное требование – неразрывность личной нравственной и трудовой жизни в семье с нравственной и трудовой жизнью общества, мира, толпы, улицы, среди которой живешь и которой принадлежишь. Все эти требования мы находим положенными в самое основание всего строя жизни «по народному» типу, то есть в народной среде. В грубом и диком виде вы можете найти «в крестьянстве» *образчики* той жизни, о которой мечтает и вопиет культурный человек, удрученный меркантильным, купонным строем общества.

В видах наибольшего уяснения свойства народного строя

жизни мною было написано несколько литературных заметок, касавшихся таких литературных произведений, которые давали возможность обрисовать коренные свойства народного строя жизни возможно яркими чертами. Так и с такою целью я позволил себе сказать несколько слов, между прочим, о драме Л. Н. Толстого «Власть тьмы» и о произведении г-на Тимощенко «Борьба с земельным хищничеством». Чтобы в этой заметке было исчерпано по возможности все, что помогло мне подтвердить мои соображения о превосходстве «трудовой жизни» перед строем жизни меркантильным, я позволю себе привести здесь кое-что из сказанного мною по поводу драмы «Власть тьмы».

«Мне кажется, – писал я тогда¹⁴, – что драма «Власть тьмы», кроме напоминания культурному человеку о его обязанности по отношению к некультурному меньшему брату, могла бы заставить задуматься его и *вообще* над строем культурного общества, заставила бы подумать, и подумать крепко и многосторонне *вообще* о таком строе жизни, в котором были бы немислимы язвы, разъедающие теперешний культурный слой общества и проникающие уже, как это доказывает «Власть тьмы», в массы, в толпу темных людей.

«Да, драма Л. Н. Толстого есть драма культурная, только разыгравшаяся среди мужиков; все составные элементы, из которых она сложилась, – элементы культурного строя жизни, *а не народного*, и мне всегда казалось несколько стран-

¹⁴ «Русские ведомости», 29 марта 1887 г.

ным, что культурный читатель¹⁵ этой драмы ужасается, например, жестокости действующих в ней лиц, убивших ребенка.

«Косточки хрустят! – с ужасом говорит читатель или читательница. – Нет, это ужасно! Это невозможно ставить на сцене! В публике непременно будут припадки истерики!»

«Чтобы читатель сразу мог видеть огромную разницу строя, то есть сущности и плана, по которому расположены человеческие отношения в строе купонном и в строе «трудовом», я обращаю его внимание на слова Петра, сказанные им в первом явлении первого действия, чуть не на первой же странице драмы.

¹⁵ Выражение это требует объяснения. Один русский писатель, мнение которого я вполне разделяю, характеризует разницу между интеллигентным и культурным человеком как разницу между настоящим и поддельным алмазом. И поддельный алмаз может стоить тысячи и ни в чем, повидимому, не уступит настоящему, но только – повидимому. Можно обладать всеми прекрасными свойствами человека интеллигентного и в то же время не иметь искренней потребности в этих свойствах, то есть можно иметь грубое, дикое сердце, поддающееся всякой неправде, и в то же время под влиянием культурных привычек, культурной выучки казаться человеком широкого и искреннего сердца. Интеллигентный человек, напротив, – невольник искренности сердца, человек, в котором не может быть тени стремления смягчить, приладить к обстоятельствам, так сказать, образумить свою искренность, и потому, захваченный тою или другою идеей, он *не может* отказаться от последовательного ее развития до конца, хотя бы конец этот и была смерть, огромное личное горе и т. д. Употребляя выражение «культурное общество», я подразумеваю общество, которое, при внешнем благообразии и благовоспитанности, не вполне еще благообразно и благовоспитанно в своей внутренней сущности и, возмущаясь на словах против зла, в глубине сердца, пожалуй, считает его даже не злом.

«Хворый Петр говорит:

«— Кабы не был я болен, ни в жисть не взял бы работника.

«Эта фраза сразу рисует совершенно не тот строй жизни, которым привыкли жить мы, люди культурного общества. Кто в этом обществе может сказать, что ему не нужен работник, что он обойдется сам, что, наконец, только крайняя нужда, неожиданная беда заставляют покориться этому *несчастью* пользоваться чужим трудом? В культурном обществе все нуждаются и живут чужим трудом, и все в то же время служат чужому делу — все работники, все нанятые и принужденные жить, нанимая других. Поэтому, чтобы в народной среде могла произойти культурная драма вроде той, которую мы видели во «Власти тьмы», нужно, чтобы и строй народной жизни исказился по культурному образцу; это в драме и оказывается.

«Петр, завзятый «хозяин», человек, весь поглощенный разностороннейшею деятельностью земледельческого труда, вдруг вдовеет, и вдовеет уже в годах немолодых, когда на руках у него уже взрослая дочь. Не будь у него денег, а главное, не будь уже *в окружающей его среде такого расстройтва, которое дает возможность деньгам превратиться в силу*, что бы стал делать Петр? Он неизбежно бы ослаб, огромная часть бабьего труда, неразрывно вплетенная в область труда его собственного, со смертью жены замерла и омертвила бы его мужичье трудовое дело. Надо бабу. Но там, где все «сами хозяева», кто пойдет за него, старика, семейного? Всякая

девка сама будет хозяйка и мать; а старуху, вдову взять ему не будет нужно – не будет с ней, со старухой, этого тепла в трудовой жизни, которое было в жизни Петра с женой, с которой они, не сознавая этого конечно, жили, однако, вполне «увместях», и притом во всех отношениях. Без денег и без возможности применить их к делу Петр так бы и зачах, если бы не взял во двор, за свою дочь, мужа. Да и для этого нужно уже расстройство чьего-нибудь «своего», собственного хозяйства, чтобы кто-нибудь захотел идти в люди, в чужой дом, в мужья. Но Петр – завзятый крестьянин; он и перед смертью не может оторваться от неразрывных пут, связующих его с жизнью; едва волоча ноги и чувствуя предсмертный холод, он все-таки бормочет что-то о картошке, о лошади, о поле – все для него важно, существенно, все это вошло к нему в плоть и в кровь, и все это для него – *жизнь*. Такому человеку нельзя брать «в зятя», нельзя поправить расстроенный механизм жизни, принимая в свое дело нового хозяина, – у него у самого много страсти и аппетита к жизни.

«И вот он делает первый культурный грех – женится, *старый, на молодой девке* Анисье; молодая, красивая, работающая Анисья ни во веки веков не пошла бы за старика, не польстилась бы на его хозяйство, если бы только строй народной жизни не был пошатнут и расстроен. Она вышла бы замуж по вкусу (хоть бы за того же Никиту, которого «нужда» сделала работником на железной дороге), вышла бы замуж своевременно за вполне подходящего ей парня и жи-

ла бы своим домом, своим хозяйством; но, повторяю, народный строй уже расшатан, поврежден, и в нем уже существует свойственный культурному обществу тип красивой, бойкой, молодой девушки, *которой есть нечего*, которую *нужда* уже заставляет выйти за старика, продаться.

«О родне Анисьи ничего не сказано в драме Л. Н. Толстого; не видно в ней ни ее отца, ни матери, и можно думать, что Петр, поняв ее сиротство, решился, ради любви к живой хозяйственной жизни, соблазнить молодую девку, то есть нанять, купить *на деньги* ее молодую бабью силу, бабье тепло, животворными токами связующее и овеселяющее миллионы мелочей хозяйственного обихода жизни.

«Деньги, а главное, уже расстроенная среда помогли ему сделать насильственное дело, заставили Анисью покориться; но Петр наверное знает, что он согрешил (и это чувствуется в драме), что из-за своей любви к жизни провинился пред тою же любовью к жизни – в Анисье; он, и ослаб, и развалился, и расхворался-то потому, что, очевидно, *старался* Анисью привязать к хозяйству не одним только расчетом жить не в бедности. Но он уже пожил на своем веку с своею первою бабой, а Анисья – молодая, и Петр, при всем своем старании, поослаб, сильно раскис, и до того раскис, что принужден был взять *работника* Никиту.

«С другой стороны, и Анисья, очевидно, жила с Петром только потому, что нужда заставила, – жила с Петром как с нанимателем, то есть точь-в-точь так же, как Анна Каренина

и как всякая героиня современного буржуазного романа, и никакие старания Петра, как мужа, привязать ее к чужому делу – ее, в душе которой скрыто лежит врожденное желание самостоятельности, жизни по своему вкусу, с «своим» мужем, – никакие такие старания не приносили ничего, кроме пассивного повиновения со стороны Анисьи; Петр ослаб, а ей – как к стене горох, до тех пор пока не явился Никита, то есть настоящий Анисьин суженый, половина, вполне к ней подходящая.

«И опять-таки, чтобы Никита, этот молодчина и красавец, мог попасть в работники, опять-таки нужно было предварительное расстройство народной среды. Такому парнищу, по народному порядку жизни, придя в возраст, надо бы прямо принять закон и жить своим хозяйством, но *нужда*, невозможность уже в настоящее время таким славным ребятам, как Анисья и Никита, жить своим хозяйством, жить «по-божецки», гонит Никиту на железную дорогу за рублем, как и Анисью гонит в жены к старику; таким образом получают те самые неискренние, недобровольные, склеенные деньгами связи, которые составляют *существенную* особенность купонного строя теперешнего общества.

«Нужно было отравить Петра, убить Акулинина ребенка для того, чтобы Никита и Анисья могли стать в те естественные отношения, в которые они стали бы без всяких злодейств, если бы только условия народной жизни не подверглись ломке и разрушению. Никита, живущий с Анисьей, с

Мариной и с Акулиной, доказывает только то, что в народной среде, как и в культурной, ему нельзя было жить *по-крестьянски*, взять вовремя жену и жить хозяйством; что в народной среде образовались такие неблагоприятные условия, вследствие которых Анисья должна продаться старику, Маринка вместо замужества пойти на железную дорогу в поденщину, а Акулина должна уничтожить Анисью, пришлую в чужой дом хозяйку, чтобы вернуть себе право хозяйствовать в своем доме.

«Не будь расстройств народной среды, дающего деньгам силу, – не проданась бы Анисья, не пошел бы в работники Никита, и Петр, оставшись без купленного труда, выдал бы Акулину замуж честь честью. Но расстройство, давшее силу деньгам, уже произошло в народной среде и превратило всех лиц драмы в людей друг другу *подверженных*, связанных *нуждой*, тогда как в неиспорченном и в нерасшатанном народном строе жизни те же самые люди были бы людьми самостоятельными – каждый и каждая – и связи между ними были бы не во имя нужды, хлеба, а именно во имя взаимной самостоятельности, независимости от нужды.

«Ведь вот хоть бы эта Маринка: загнанная нуждой на железную дорогу, сходится с Никитой не как муж и жена. Ни тому, ни другому *нельзя* сделать этого там, то есть *нельзя быть* мужем и женой. Спрашивается: какая была бы участь Марины, если бы ее не спасла деревня? Она бы наверное пропала, превратилась в проститутку. Но деревня дала ей

свое хозяйство и сделала ее человеком. В расстроенной же семье Петра все отношения людей уже «подверженные», не народные. Петр *подвержен* Анисье; он старается привязать ее к своему, чуждому ей делу, бьется и истощается; Анисья подвержена Петру из-за нужды – терпит его как мужа только потому, что ест его хлеб; Никита – работник, подверженный Петру также из-за нужды. Но у всех в душе есть желание независимости, самостоятельности, и чтобы этому желанию можно было осуществиться, нужно совершить ряд преступлений, то есть разрушить насильственные связи.

«Возьмите любой современный роман, рисующий жизнь и нравы современного культурного слоя, и вы везде найдете *точь-в-точь* такую же драму, как та, которая изображена во «Власти тьмы». Золя, Дюма¹⁶, Бурже¹⁷, Серао¹⁸, Мопассан – все эти живописцы современных нравов культурного слоя европейского общества живописуют нам именно то, что теперь у нас начинает происходить в деревне. Везде – насильственные связи, связи по нужде, везде взаимная кабала, подверженность и в то же время желание выйти из этой путаницы – желание, сопровождающееся обманом, хитростью, скрытую грязью, унижительнейшими страданиями.

«Унижение человеческого достоинства – вот что именно и ужасно, что собственно и потрясает в этой современной

¹⁶ Дюма – см. примечание выше, к очерку «Заметка» (стр. 624).

¹⁷ Бурже – см. там же.

¹⁸ Серао Матильда (1856–1927) – известная итальянская писательница.

культурной драме. Попробуйте, например, рассказать языком мужика Акима (в драме «Власть тьмы»), а главное, посмотреть с его точки зрения на жизнь хотя бы тургеневской Ирины (в «Дыме»), и вы придете в ужас от бесчеловечия людей, среди которых прошла ее жизнь. Вот уж где «косточки-то трещат»!

«Ее, хорошую и молодую девушку, невинную и чистую, родитель князь для поправления своих финансовых обстоятельств решается уступить какому-то лицу, с которым он знакомится на бале в дворянском собрании. Ее нарочно одевают так, чтобы «лицо» заржало и пожелало. Лицо заржало и потом, чтобы подлое дело прикрыть благообразным покрывалом, перепродало или переуступило Ирину генералу Ратмирову. Она *долгие годы* живет с ним, непрестанно чувствуя, что живет только для виду, зная, что тело ее куплено и что силы души направлены на то, чтоб это грязное дело, этот разврат ее и ее мужа имел приличный, благообразный вид. Таким образом вся загрязненная, захватанная грязными лапами, эта несчастная уже боится быть искреннею и только «уворуяючи» может в течение всей своей жизни сказать один раз искреннее слово любимому человеку, да и то где-то в чулане на каком-то чемодане. Только «крадучись», как вор, и опять один только раз в жизни, проданною, купленною и перекупленною, может она отдать любимому человеку какой-то *долг*. И все впопыхах, в одну минуту. Прибежала, отдала долг и убежала опять врать всю жизнь, жить по найму!

«– Не по-божьи, значит, это, тае, – сказал бы Аким, прослушав эту кружевную тургеневскую повесть. – Скверность это!.. Душу загрязнили, душу, значит, божецкую запакостили у девки! Это, тае, грех великий, тае, значит, грех перед богом!

«А ведь этот, и именно такой грех непрерывен, ежедневен, обязателен для нашего недостроенного культурного общества, и вот почему удивительно, что оно же и ужасается «косточек» толстовской драмы».

Те же цели руководили мною и при составлении заметки о произведении г-на Тимощенко. Эта заметка будет помещена в конце настоящих *писем*; теперь же скажу только одно, что в произведениях г-на Тимощенко я взял только тот материал, который касался исключительно *трудовой* жизни, и никакие фабричные фантазии г-на Тимощенко несколько меня не интересовали. Меня интересовал строй трудовой жизни семьи, и только. А что дом, семья могли и могут жить трудовой жизнью, мы можем указать, между прочим, на воспоминание г-на Селиванова¹⁹ о жизни рязанских помещиков пятьдесят лет тому назад. Помещичья семья, получавшая с двух тысяч крепостных крестьян пятьсот рублей дохода, *не могла их истратить в течение года*: все, что нужно чело-

¹⁹ Селиванов И. В. (ум. 1882) – писатель, сотрудник «Современника», автор книги в трех частях «Провинциальные воспоминания. Из записок чудака», М., 1856–1861. Успенский, вероятно, имеет в виду его «Записки дворянина – помещика, бывшего в должности предводителя, судьи и председателя», печатавшиеся в «Русской старине», 1880, VI–VIII.

веку, могло быть получено дома. Даже *барышням*, говорит Селиванов, не приходилось покупать нарядов – все делалось дома. Положим, что все это делалось крепостным, рабским трудом, но эта фабрика могла быть домашнею.

Вот пока все, чего мне пришлось коснуться до сих пор ради выяснения язв культурной жизни и самого поверхностного очертания таких порядков жизни, при которых совесть человека чувствует себя свободною и чистою. Знакомство с строем народной жизни – пока только «образчик», при помощи которого есть возможность проверить и осветить язвы меркантильного, купонного, а не трудового строя жизни. Без этого образчика трудно, невозможно разобраться в многосложности тяготы существования человека, захваченного купонными порядками, не легко понять, отчего мне, этому купонному рабу, «так больно и так трудно» жить на свете. Вот почему, как и до сего времени, все, что литература и жизнь дадут нам подходящего и пригодного в виду нашей цели выяснить, отчего *так больно и так трудно*, все это будет предметом нашего самого пристального внимания.

Теперь же, однако, пора возвратиться к моим путевым впечатлениям и досказать все, что касается моей встречи с переселенцами.

2

Толкаясь в этой, так хорошо, удобно устроившейся толпе трудящихся людей, я решительно не чувствовал ни малейшей потребности омрачать эту весело складывающуюся жизнь теми, на наш взгляд необходимыми и неразрывными с представлением о народной жизни придатками, которые мы привыкли полагать для «мужика» обязательными. Не приходило мне в голову внушить этой толпе что-нибудь о смирении, о подвижничестве, о безропотности и покорности; не приходило в голову оскорбиться этим стремлением «мужика» к удобствам жизни, и не обижало меня то, что вот все они, эти переселенцы, тепло и красиво одеты, что спят они не под лавками, не на грязном полу, а на чистых и теплых белых кошмах и едят не «пустые» щи, а щи самые прекрасные и питательные. Никакой надобности не ощущал я среди них даже в мысли о том, что трудовая жизнь должна быть осложнена лишениями, неудобствами, недохватками, как это часто считают неизбежным проповедники учения о «трудовой жизни». Напротив, именно потому, что встретившиеся мне крестьяне случайно были поставлены в хорошее положение, то есть лишены были возможности страдать от случайных несчастий крестьянской жизни, передо мной и могла выясниться вся подлинная, не затемненная несчастными случайностями прелесть и красота трудовой жизни.

Нет, думалось мне, никто из них не пойдет ни в какую кабалу, никто не будет вынужден пойти и продать себя в публичный дом, точно так же как никто не будет вынужден и покупать продающегося; никто не согласится уродовать ни своей головы, ни своей души, ни своей совести из-за «средств к существованию». Средства к их существованию – они сами, эти мужики, эти статные и красивые женщины, девушки, здоровые, игривые ребята. Они не пойдут за средствами ни в банк, ни на фабрику, а носят их в самих себе, не разделяя своего труда от целей и средств своей жизни.

Жалко и больно стало мне за наших интеллигентных ребят; не узнать им никогда счастья жить свободным человеком, какими живут вот эти крестьянские ребята; «Хлеб» свой они будут зарабатывать и есть не иначе, как изуродовав на тот или другой манер свою душу, и жить будут, пугаясь жизни и крепко держась за свое калечество, как за якорь спасения.

В тяжкие минуты жизни им будет мелькать мечта о какой-то свободе, о какой-то простой, свободной жизни; по временам душа их будет болеть неправдою своего существования, искать выхода, завидовать простоте и свободе жизни мужика; но мы, родители, сами изувеченные духовно, не сумели еще рассеять страх в наших детях перед *трудою жизнью* и продолжаем до сих пор рисовать ее себе и детям не иначе, как жизнью холода, голода, рвани, собирания кусочков, невежества и тьмы.

Независимость, таящуюся в трудовой жизни под грудой нами же набросанных на нее зол и бед, мы не сумели выдвинуть на первый план, не создали трудовой школы в смысле выхода к независимости и тем не отстранили от слова «труд» всей каторжной его обстановки. Все это надо сделать, и все уже делается на Руси в виде маленьких и робких попыток.

Об этих попытках будет кое-что сказано ниже в этих же письмах. Теперь же пора возвратиться к пересказу путевых впечатлений.

III. Люди всякого звания

1

Вся страстная неделя 1886 года прошла для меня в разнообразных мечтаниях и воспоминаниях. И хотя веселые впечатления девственных мест были мне вполне по сердцу и материала для таких впечатлений было вполне достаточно, но все-таки я не без удовольствия ждал конца недели и прихода парохода. Одинокое и довольно томительно прошла ночь под Светлый день, да и самый первый день праздника с своим жалким гуляньем был едва ли не томительнее будничного дня.

В городе в этот день было уже совсем пусто, даже две-три лавчонки, около которых в будничный день все-таки толкался народ, были теперь заперты. По улице изредка проходили жиденькие группы местных жителей и жительниц, праздновавших большой праздник, кажется, только непомерным истреблением подсолнухов, – вот и все праздничные впечатления. Откуда-то с поля ветер приносил в город хриплые звуки шарманки, наигрывавшей скучный мотив песни о «подруженьках», которым скучно, из «Аскольдовой могилы»²⁰,

²⁰ «Аскольдова могила» – опера А. Н. Верстовского (1799–1862), написанная

и под эти скучные звуки там, в поле, истребляя все те же подсолнухи, на скрипучих круговых качелях, должно быть не в особенно веселом расположении духа, качались немногочисленные жители и жительницы Новороссийска. Наконец часу в двенадцатом ночи с воскресенья на понедельник послышался сильный свисток парохода, и все, что было целую неделю заперто в Новороссийске, целую неделю, как в тюрьме, ожидая выезда, бросилось на пристань. Очень много было простого народа, отправлявшегося в Новый Афон (монастырь близ Сухума), пользующийся в народе большим уважением. Было не меньше, чем «серого мужика», того подозрительного народа, ищущего, «кого поглотити», о котором уже было и еще будет говорено. Простой, без определенных целей путешественник был, кажется, только один я. Приняв всех нас на борт, пароход постоял еще некоторое время и, не взирая на темную ночь, ушел-таки, наконец, в море.

И с тех пор в течение месяца я и путешествую более или менее с незначительными остановками; от Екатеринодара я проехал к морю три раза: во-первых – кубанским степным почтовым трактом, во-вторых – другою дорогой, идущею в предгорьях, третий – на пароходе по Кубани до Темрюка, а по черноморскому берегу доезжая до Лазаревского поста, ниже Туапсе, я прошлялся в скверных пароходишках между Темрюком и Керчью. Все, что мне пришлось видеть в эту поездку, все это я видал только «мельком», причем поло-

жительно на каждом шагу встречалось так много самых разнообразных, затрагивающих за живое впечатлений, что постоянно являлось желание остаться, пожить на одном месте месяц, два, чтобы разглядеть интересное явление поосновательнее. Но времени было мало, приходилось ехать дальше, мельком только взглянув на интересное явление и мельком о нем подумав. И все-таки, несмотря на то, что поездка моя была поспешна и непродолжительна, разнообразие впечатлений, мест и всякого звания людей было настолько обильно, что я при условиях, в которых находился, не мог и пожелать ничего большего. Нигде, думается мне, не скопилось так много, как на Кавказе, явлений русской жизни данной минуты, рисующих наши русские порядки, отношения и настроения, и нигде нет такого разнообразия местных географических условий, способствующих, чтобы разные порядки, вовсе одни на другие непохожие, уживались почти рядом друг с другом. То, что в России надобно изучать по отдельным областям Великороссии, Малороссии, Волыни или казанской татарщины, – все это можно видеть здесь как бы в образчиках, сгруппированных на незначительных пространствах места, точно в музее.

Ровная, как стол, кубанская степь, вся – хоть неряшливо распаханная под разные роды хлебов, вся уставленная огромнейшими станицами, издалека приметными своими бесчисленными ветряными мельницами и их широкими махающими по ветру крыльями, – эта земледельческая

гладь, приближаясь к низменностям, на большое пространство окружающим город Темрюк, почти сразу превращается в настоящую южноамериканскую табачную плантацию. Непривычное для российского земледельческого человека слово «плантация» начинает слышаться поминутно; в чистом поле или в дороге начинает встречаться фигура точь-в-точь такого же самого американского плантатора, какую мы видим на иностранных объявлениях о разных новоизобретенных машинах всякого рода: какой-то удивительный инструмент (так обыкновенно рисуют на этих иллюстрированных объявлениях), вяжущий и бросающий готовые связанные снопы на телегу, подвигается по золотистой ниве, а рядом с этим инструментом, на паре сильных лошадей, в изящной бричке, в широкополой соломенной шляпе и с сигарою в зубах, мчится куда-то благообразный «плантатор». Так вот точь-в-точь такие благообразные плантаторы с лицами, сияющими удовольствием и благополучием, начинают попадаться и здесь, а неразлучно с благообразным и благополучным плантатором начинают попадаться буквально целые обозы «рабочих рук», к сожалению также вполне соответствующих американскому своему сотоварищу – негру. Здешние «рабочие руки» плантации – всё женщины, всё молодые жены, молодые девушки. Десятки голых женских ног болтаются по краям немецкого фургона-телеги, на которых, спина о спину, насажено молодой женской силы столько, сколько влезет в телегу. В Екатеринодаре существует для

найма работников на эти плантации настоящий женский рынок. По воскресным дням на местном базаре с раннего утра стоит уже тысячная толпа этих рабынь, предлагающих на продажу свои руки и вынужденных даром отдавать все, чего пожелают многочисленные администраторы табачного производства. Бедные деревенские дети, чисто по детской наивности, полагают, что нужно как можно лучше принарядиться, чтобы нашлись охотники купить этот товар; все они разоделись как «маков цвет», в лучших платьицах, в лучших платочках, точно собрались *песни играть*. Сколько детской наивности в этой толпе женской молодежи, не знакомой еще с ощущением *тоски в труде*, не подозревающей, что эти «планташи» (местное название плантации) умертвят в них это трудовое «веселье», которое они, дети деревни, трудовой жизни, привыкли не отделять от работы! Планташи знакомят их с тяготой труда, на деньги «купленного» чужими людьми.

Не успели вы побывать в американских плантациях, как уже что-то совершенно не похожее на них идет навстречу. Кубань, приближаясь к морю, течет по местам все более и более низменным. Река эта вообще не особенно живописна и привлекательна: не из ключей и ключевых ручейков, сливающихся по живописным ложбинкам в широко, прихотливо пробирающуюся по «удобным» местам реку, – как вообще русские реки, – исходит Кубань, и не ключевой водой наполнены ее некрасивые берега. Вся она – из талой снего-

вой воды; холодная, светлая, гремящая по скалам только в истоке, спадая с высоты ледяных вершин Кавказского хребта, она превращается в низменной равнине просто в сильный поток, пробивающий дорогу под влиянием напора силы где попало, то есть по тому направлению, по какому напирает сила бегущей из ледников талой воды, и тотчас же грязнит свои кристальные воды в черноземе, который ей приходится рыть, чтобы на ровном месте проложить себе дорогу. Берега Кубани некрасивы, точно топором обрублены, и грязны. И среди этих грязных, некрасивых берегов Кубань несет к морю свои грязные воды. Чем ближе подходит она к Темрюку и к морю, тем низменнее становятся ее берега; еще час назад берег возвышался над поверхностью течения на аршин, а теперь едва виднеется только на четверть аршина, а дальше — и берег и вода уже на одном уровне.

Под Темрюком Кубань расходится в разные стороны многими рукавами, теряясь в огромной и поистине удручающей низине; на огромное пространство кругом виден только седой прошлогодний камыш, торчащий из какой-то словно вдавленной земли. Эта-то вдавленность земли и производит душное, удручающее впечатление. Чувствуешь себя как бы на какой-то глубине, несоразмерно далеко упавшей книзу, от высоты этого неба, этого солнца, от огромности всего этого воздушного пространства, которое, кажется, хочет навалиться на вас и окончательно притиснуть к притиснутой земле.

Нельзя не подивиться тем человеческим существам, которые и здесь, в этих мертвенных местах, почти у самого края берега, высота которого вершок, находят возможным ютиться в каких-то хибарках из камыша и надеются «жить землей» здесь, где Кубань иногда разливается до таких размеров, что сносит целые поселения, стоящие на берегах ее сравнительно довольно высоко. Кто они, эти человеческие существа? Какая адская нужда загнала их сюда и заставляет в поте лица трудиться там, где Кубань каждую минуту грозит уничтожением в мгновение ока плодов многолетних и неустанных усилий труда? Несмотря на явную очевидность невозможности жить здесь, перед вашими глазами и пашня видна, и пахарь, и баба, и мальчонка без штанов и без шапки, и камышовое лукошко вместо избы, и, наконец, тот самый Шарик, у которого еще тогда, когда таинственные его хозяева жили где-нибудь в Тульской губернии, кошка выцарапала глаз и телегой переехало лапу. Всё это волею судеб занесено сюда, в эти бесплодные, втиснутые в землю долины, копошится в этих неприветливых низинах, трудится в поте лица, охраняемое от всех напастей единственно только тем же старым другом Шариком, который и теперь с таким же лаем, как бывало на родине, бросается уже не на «прохожего», а на чудовище-пароход, который, проходя мимо камышового шалаша, так взбалтывает грязные воды Кубани, что они грозят снести с лица земли все, только что устроенное человеком на берегу. Как же не лаять из всех сил на это чудовище? И Шарик

делает, что может, — заливаётся лаем из всех сил.

Люди, хорошо знающие эти места, говорят, что десять лет назад берега Кубани были пустыня. Теперь, проезжая на пароходе в воскресный день, мы на каждом шагу встречали по берегам народ, глазевший на пароход, постоянно видны хутора, большие и малые, одинокие домики, жалкие поселки в два-три двора, а затем, как я уже сказал, начали встречаться камышовые хибарки и плетушки в таких местах, где даже мысль о возможности вообще «жить», да еще и земледельческим трудом, не могла бы прийти в голову, если бы во всем этом не сказывалась крайняя нужда безземельного человека.

Под самым Темрюком эти шалаши из камыша и камышовые хибарки начинают попадаться все чаще и чаще, но обитатели их уже не безземельные скитальцы, а темрюкские мешане-рыболовы. Проезжая на маленьком пароходе к взморью, где останавливаются большие морские пароходы, идущие в Керчь и далее до Ростова, вы делаете много поворотов по рукавам изливающейся в море Кубани и во многих местах встречаете эти плетушки из камыша, двух-трех человек, оперирующих что-то над только что пойманною рыбой, и бесчисленное множество лодок, разбросанных повсюду, по всей поверхности широко разлившихся вод. И все это большею частью какие-то одинокие рыболовы: вот чистый бородастый русак копошится с своею сетью, опущенною в воду, охраняя ее от набега парохода, а вот в другой лодке какой-то турок или грек в феске, а там совершенно явственный «ни-

колаевский» служака, у которого когда-то бритое лицо заросло седою топырящеюся щетиной. Эти на лодках. А по берегам тоже с какими-то хитрыми ручными сетями плетутся и мужчины, и женщины, и даже дети, и все один по одному, «сами по себе». И глядя на эти одинокие, разнословные, разнохарактерные фигуры, еще раз убеждаешься в обилии «оригиналов» и «характерных людей», которых русская земля высылает сюда вместе с «толпами» переселенцев, исключительно ищущих земли. И точно, много здесь типичных русских людей, которые хотят жить «на свой образец», которые могут сказать про себя: «Я сам себе голова!» Но об этом ниже будет сказано подробнее.

Теперь пойдем к тому же Черному морю другой дорогой и, выйдя из Екатеринодара по направлению к Новороссийску, сделаем небольшой, верст в сорок, крюк южнее обыкновенной фургонной дороги, идущей по берегу Кубани, – и мы опять в совершенно новой, удивительно прекрасной местности. Правда, и здесь уже чувствуется та «низина», которая далее переходит в темрюкские болота, но здесь эта низина постоянно перемежается с отрогами Кавказского хребта и вместе с ним покрыта роскошной растительностью. Мощные дубовые леса идут на пространстве многих десятков верст, и, проезжая ими, я тысячу раз вспоминал И. И. Шишкина: «Вот, – думалось мне, – где было бы раздолье его перу и кисти!»

Особенность этих вековых дубовых лесов та, что они, за-

крывая вас от солнца и от неба своими густыми развесистыми зелеными вершинами, дают много простора по сторонам; чувствуешь над собой зеленый купол, а по сторонам просторные широкие залы с бесчисленными, но широко, просторно расставленными и величественными колоннами. Вековые дубы, могучие, дышащие обилием и расцветом сил, стоят редко друг от друга, и стоит только взглянуть на этих гигантов, чтобы понять, почему вокруг них так просторно, почему нет порослей молодяку и всякого неприглядного бурьяна, которого так много в здешних степях: гиганту нужно «самому» так много, что он уж не дает никому поживиться тем, что ему надобно; солнечные лучи не добегут до земли – гигант съест их сам, своею зеленою вершиной; да и влагой земли тоже не придется поживиться никакому тощему переселенцу-зерну: «сам» пьет за двадцатерых – скоро ли нальешь «эту прорву»? Ведь в этой прорве шесть обхватов, сотни гигантских сучьев, ветвей толщиной в хорошее строевое бревно, веток толщиной в руку и сучков не тоньше самой толстой проволоки. А миллионы листьев? А миллионы желудей? И все это хозяйство надо прокормить, напоить, одеть, – и все это делает один, этот шестиобхватный насос, и вот почему эти гиганты стоят так просторно друг от друга, мешаясь в вышине только вершинами, но далеко отстоя корнями и стволами; вот почему так чисто в этих просторных залах, застланных понизу зеленым ковром мелкой травки...

И вот в таких-то чудных лесах разбросаны хутора, стани-

цы, деревни, разноплеменные, своеобразные, живущие каждая на свой образец.

Продолжая идти эту дорогой далее, мы придем уже в пустынные, но красивые и живописные горы, о которых я писал в первом письме, через горы очень скоро доберемся до Новороссийска, о котором также было говорено, а после него перед нами Черноморское побережье, многосложная история пустынности и необитаемости которого также уже рассказана мною выше.

Итак, вот как много разнообразия в том крошечном уголке, который только мельком довелось оглядеть мне не более как в течение одного месяца... А какое разнообразие людей и какое удивительное обилие оригиналов всякого рода!..

2

Обилие людей всякого звания и в особенности «оригиналов» также всякого образца стало поражать меня с той самой минуты, когда я, оставив станцию Тихорецкую и доехав по железной дороге до другой станции, откуда шла старая почтовая дорога на Екатеринодар, очутился, наконец, в фургоне, в обществе целых трех попутчиков, которые весьма скоро все до одного оказались каждый на свой образец.

– Что новенького в газетах? – едва фургон тронулся по пыльной дороге станичного базара, спросил меня человек цыганского типа, оказавшийся моим соседом. Спросил он меня о газетах потому, что, садясь в фургон, я сунул газету за подушку.

Я недоумевал, что может быть интересно знать из газет этому цыгану в казакине, в мерлушечьей шапке, «при цепочке» и при золотых кольцах, дающих право думать о незнакомце как о теноре или баритоне цыганского хора. Не помню, что я ответил на его вопрос.

– Хотелось бы мне узнать насчет маршала Серрано²¹, – как бы призадумавшись о чем-то, проговорил он...

Фамилия известного испанского генерала, маршала, по-

²¹ *Маршал Серрано* – герцог Франциско Серрано-и-Домингес (1810–1885) – крупный испанский государственный деятель и маршал, вождь либеральной партии Испании; в 1869–1871 годах был регентом.

литического деятеля, в устах этого цыгана изумила меня.

– Да что же вам надо о нем знать?

– Да так собственно. Поди, уж старичок стал?.. Они ведь с Примом²² как орудовали, пора и на покой!..

Я вспомнил, что, кажется, в газетах было напечатано о смерти этого деятеля, и сказал:

– Умер он!

– Умер? Ну царство небесное! Помutil на своем веку до-вольно, а ничего старичок!..

– Да как же вы его знаете?

– Наш барин на его дочери женат... Изабелла, кажется, Андреевна... Уж забыл я... Очень хорошая дама!.. Ну да лучше уж и не вспоминать! Прошли эти времена!

Он с грустью махнул своею коричневою с перстнями ру-кой и, некоторое время задумавшись о чем-то, молча смот-рел в окно фургона.

– Не дал мне бог послужить им, хорошим господам! По-тому что я был дурак! Вот отчего! Бескорыстие во мне, в дураке, было, честность!.. От честности своей бескорыстной нахожусь я теперь, вот как видите... ни в тех, ни в сех... До-гадаю меня, по глупости моей, не молодому барину с бары-ней предать себя на услужение, а напротив – дяде ихнему, чорту существу, я верой и правдой служил... Вот в чем! Гос-

²² Прим – маркиз дон Хуан Прим (1814–1870) – испанский генерал и полити-ческий деятель, один из вождей либеральной партии Испании. При регентстве Серрано был назначен министром-президентом.

подь меня помутил! И не баринову руку держал, а его сестры, племянницы, стало быть, моего-то чорта... А кто она, племянница-то? Мотовка! А я все ее перед чортом-то огораживал, потому надеялся, что поддержит она меня перед дядей и тот в завещании не забудет меня... Пятнадцать лет я так-то прозудил! И чего только не натерпелся!

И понемногу он рассказал весьма любопытную историю жизни своей у одного крупнейшего малороссийского помещика, знаменитого скряги, превосходящего Плюшкина, и необычайного клязника в малейших житейских отношениях, превосходящего самого Иудушку. Описав тысячи уловок, без которых решительно нельзя было ступить шагу, живя около этого человека, и прожив даром потраченные пятнадцать лет, он сказал с грустью:

– С тех пор вот и маюсь – то сюда, то туда! От одного дела к другому, а толку все нет!

Рассказал он про «хлебное дело», к которому он пристал после того, как молодой барин отказал ему от места, но в скором времени прогорел.

– Были у меня кое-какие крохи, тысяч пять – все ухнули! Поверите ли? Даже поседел с тех пор!

Затем рассказал про винное дело, про разные операции с кизляркой, про всякие подделки станичных вин – и опять вышло плохо, так плохо, что, горюя о неудаче, цыганообразный человек по забывчивости окончил рассказ об этом эпизоде уже сказанными ранее словами:

– Поверите ли? Поседел даже с тех пор!

Много дел, по его рассказам, предпринимал, и все выходило так, что оставалось только поседеть... Наконец он умолк на некоторое время, глубоко о чем-то вздыхал и вдруг с оживлением и как бы решительностью спросил меня:

– Не посоветуете ли вы мне, как тут быть?

Пучок бумаг быстро был вытащен из бокового кармана казакина.

– Замучила меня эта погань... следствие! Окружной суд оправдал, а прокурор подал на апелляцию – опять дело начинается вновь!

Бумаг была такая пропасть, что я не решился и трогать их, а спросил:

– В чем же ваше дело?

– Да так... чепуха! – пряча бумаги в карман и слегка сконфузившись, сказал он: – Так... просто ерунда... Подняли газеты...

– Однако?

– Н-ну...

Он помолчал, взяв рукою с бумагами в кармане.

– Н-ну... Читали в газетах про *народный одеколон*?

– А!..

– Ну вот!.. Так, ерунда! А какое дело подняли! До того измучили – даже, кажется, поседел от этого...

Но в этот раз, кажется, и сам рассказчик услышал собственное свое привиранье и, чтобы загладить впечатление

этого троекратного «седения» по случаю трех разных плутней, поспешил вновь возвратиться к началу собственных несчастий.

– Нет! Дурак, дурак был я! Чорт-то мой умер скоропостижно, в доме был один я да дьячок... А в шкатулке было сто девяносто восемь тысяч... Чего бы стоило? Дьячок-то рвался от злобы: «Боже мой! Давай! Карьера! Чорт! Бери!..» Нет! Была глупость – не взял ни копейки! Каждый божий день себя за это проклиная. Мыкайся вот!

– А теперь куда вы едете?

– В Екатеринодар.

– Что же, дело есть какое-нибудь?

– Дело-то есть, э, только дал бы бог... да вот!

Он порылся в своих бумагах и дал мне какой-то печатный листок. К величайшему сожалению, листок этот затерялся во время моих разъездов, но содержание его было следующее:

Вверху листка было напечатано: «*Амстердам. Банкирский дом* (такой-то)». А далее следовало на русском языке подробное изложение порядка подписки на пятипроцентные выигрышные билеты. Желаящий участвовать в известной части выигрыша, имеющего выпасть на десять билетов, постепенно выплачивает семьдесят пять рублей, а когда на какой-нибудь из десяти билетов выпадет выигрыш, то подписчик получает из него соответственную своему взносу часть. Деньги (до 75 р.) вносятся постепенно, по пяти рублей в месяц, не менее; номера билетов будут известны подписчику

тогда, когда он уплатит половину подписной суммы. Вопросы, пересылка денег и прочее – все это делается чрез агента, каковым и состоит цыганского типа человек, посевший в плутовстве до трех раз.

– И берут? – спросил я.

– Да как же не брать-то? Это дело законное. В Амстердаме ведь наш посланник существует. Уж он не дозволит плутовать! Амстердамская держава все одно как Россия – та же империя – обману не допустит.

Получая понемногу взносы, он пользуется ими для своих оборотов, пока не наберет до половины, и затем так же пользуется взносами за вторую. Со всей же суммы 75 рублей он получает известный процент. При нынешнем колеблющемся умонастроении как общества, так и народных масс является множество охотников «сыграть в темную», рискнуть «на счастье», и человек цыганского типа не хулит своего предприятия.

Есть у него еще и другие планы, гораздо более капитальные, чем амстердамские операции с выигрышными билетами. В Ростове живет агент другой иностранной банкирской фирмы и раздает деньги *крестьянам* под общественные приговоры за 18 процентов в год. Вот и к этому делу желал бы примазаться человек цыганского типа. Крестьян-переселенцев, нуждающихся в кредите уже после покупки земли, теперь масса на Кавказе и на юге вообще, да и оседлым казакам также кредит необходим для разных оборотов.

– Что же, – спросил я, – выдавали уже ссуды кому-нибудь из крестьян?

– Пока еще нет. Пока наберется известное количество приговоров (не помню, сколько именно), тогда и будут выдавать. Теперь же пока взимают с крестьян по десяти рублей за представление приговора.

Сколько можно судить, и эти десять рублей, в ожидании начала операции, не лежат даром в карманах иностранных агентов, а идут также в оборот, на покупку хлеба, вина, скота и т. д.

Все это, рассказанное цыганского типа человеком, – положительно капля в море всевозможных стремлений со стороны рубля, идущего за наживой в расшатанные народные массы. Стремлений, о которых слышишь постоянные разговоры и на которых сосредоточены мечтания массы темных личностей, повсюду кишящих *на новых местах*.

Человек цыганского типа был таким образом первым образчиком людей такого сорта и первым неординарного свойства человеком, которого мне пришлось встретить, едва я сел в фургон. Но и второй «тип» был не за горами.

Лицом ко мне и спиной к фургонщику сидел молоденький мальчик, лет восемнадцати, армянского типа и, повидимому, очень хорошо воспитанный или выдрессированный. Во время нашего разговора с автором *народного одеколона* он иногда делал какой-нибудь вопрос, всегда самого практического свойства и всегда на самом лучшем литературном язы-

ке. Эта благовоспитанность, умение себя хорошо и прилично держать и прекрасный язык заставили меня спросить его:

– Вы учились?

– Как же. Я вышел из четвертого класса классической гимназии.

– Зачем же вы бросили гимназию?

– Да как вам сказать? У моего дяди есть ресторан и летний сад (он назвал один из больших кавказских городов). Ну как-то летом во время каникул он и пригласил меня вести счета за буфетом. Я сам из*** (он назвал другой кавказский город), там и моя мать. Думаю, отчего мне не поехать в Т.? Туда учителя из нашей гимназии не приезжают, за буфетом меня не увидят, и, стало быть, мне стыдно не будет. Кончатся каникулы – я я опять буду в классе... И пятьдесят рублей, которые дядя обещал, тоже деньги... Но дядя меня обидел – около первого августа рассчитал и дал только тридцать; это меня рассердило. А я уже привык к буфету, и мне понравилось... На минеральных водах сезон еще не кончился... Подумал я – куда: в гимназию или Кисловодск? да и сбежал в Кисловодск... Здесь заработал в один месяц до восьмидесяти рублей. Потянуло в Ялту... Тут случился эпизод с одною барыней: втроем (нас гуляло трое: я, немец и грек) мы с нее взяли двести рублей. С этими деньгами я поступил в самую лучшую ялтинскую гостиницу: купил отличнейший фрак, все платье, белье лучшего сорта. Ну, конечно, доходы – говорить нечего! Собралось у меня денег восемьсот руб-

лей; сошелся я с поваром, сняли в N летний сад. Привез я из Харькова четырнадцать арфисток; посуду, мебель все магазины дают в долг, с уплатой каждый день из кассы. Все бы хорошо. Арфистки подобрались бойкие, на подбор; четырнадцать столов уж это каждый божий день до бела света ужинают. Отлично было пошло, только; вдруг начались проливные дожди! И представьте: без перерыва полтора месяца! Пришлось бросить все и просто бежать, бежать куда глаза глядят... Попробовал было я, в Ростове – там надо самому еще платить хозяину гостиницы пятьдесят копеек – много народа. Вот теперь еду в Е. – кажется, там будет поживее... Три шантана уже открыто, и насчет женского пола тоже... приезжих очень много... Может быть, и поправлюсь.

В начале речи этого, мальчика, когда он говорил о гимназии и о том, что учителя и товарищи не увидят его за буфетом, в его голосе слышалось что-то тоскливое и стыдливое; но по мере того как рассказ продолжался и по мере того как «деньги» начинали в нем играть первенствующую роль (благодаря толчку в этом направлении, данному обманом дяди), никакой застенчивости и ни малейших признаков скромности не звучало уже в его речи. О «скандальных» ялтинских эпизодах, об успешной «торговле арфистками», о том, что в городе Е., к счастью, кажется, уже начался разврат, – обо всем этом восемнадцатилетний мальчик, ученик четвертого класса гимназии, говорил совершенно спокойно, как о делах, не подлежащих ни малейшему сомнению и критике. И опять

повторяю, несть числа в этих новых местах толпам всякого темного народа, идущего «на рубль», как «на огонек».

Что-то глубоко оскорбляющее чувствуется на сердце всякий раз, когда придется хотя некоторое время побыть в одном из таких «новых», на рубле и для рубля возникающих человеческих общежитий. Повидимому, в этих городах с рублевым корнем в основании общежития жизнь выражается в тех же формах, как и в городах, постепенно выросших из деревень и разросшихся до размеров больших торговых центров; и там и тут – суды, церкви, гостиницы, базары, театр, трактир, газетка, вор, нищий, проститутка. Все то же там и тут, но при первом же внимательном отношении к собственному вашему ощущению чего-то оскорбительного, что возникает при посещении этих «новых» городов, вы ясно видите, что тут все хоть и то же, да не то.

Город, выраставший постепенно из маленького трудового зерна – деревни, жил одинаково всеми достоинствами и недостатками собиравшихся сюда людей; рядом с богачом появлялся и святой; хорошее и худое вырастало *неволью* для собравшихся здесь людей. Если появилась где-нибудь «на тычке» отчаянная девка Марфутка, то появилась потому, что «характерная», «нравная», и крутит на свой страх. Параллельно с бесстыжими поступками Марфутки шли и разговоры о том, как и отчего все это с нею вышло. Происхождение вора Антошки также было у всех на глазах; дело его обсуждалось, разбиралось всем обществом, и всем было яс-

но, от каких причин и ошибок Антошка погубил свою жизнь. Надо всем этим можно было, а главное, *нельзя* было не думать всему обществу, начавшему жить и живущему вместе с Антошкой.

И совсем не то происходит, когда города вырастают сразу, во имя только рубля.

Вчера еще здесь было совершенно девственное место; о девственный берег плескалась девственная морская волна, а по берегу шумел девственный лес. Но в то же самое время, когда ни единый живой человек не помышлял поселиться здесь – так здесь дико и страшно одинокому, – где-то в Берлине, Лондоне, Париже, Вене, в банкирских финансовых мозгах уже созрел план эксплуатации этой местности; уже сосчитано количество миллионов франков, миллионов марок, нужных для того, чтобы положить начало *жизни* в этих местах безжизненных. И вот приходят сюда миллионы (в Новороссийск, например, миллион пришел от г-на Фрейсине), и только во имя их начинают стекаться сюда люди. «Там деньги», – думают техники, механики, инженеры и едут сюда. «Там деньги», – слышат рабочие, слышат темные люди, слышит всякая голытьба. «Там деньги», – чуют носом аферисты всех сортов, и все это идет сюда к деньгам, и за деньгами, и во имя денег. Здесь вы видите, что не только *невозможно порицать* Марфутку за ее поведение, но, напротив, *надобно съездить* в Харьков, Ростов, закупить там Марфуток, и привезти их сюда, и «организовать прости-

туцию», как такое дело, без которого нельзя жить в современном обществе. Здесь, ничего не видя, *надобно* уже почти на пустом девственном месте строить острог, потому что воры придут непременно, нельзя без этого. *Надобно* строить кафешантан, потому что также невозможно без этого, *надобно* открывать гостиницы с номерами, *надобно* заблаговременно отводить места под трущобы и публичные дома. Словом, здесь, в этих новых городах, люди *сознательно* тащат на чистую, невинную землю всевозможный мусор, сами, своею волей, *должны* заводить грязь и всякую гадость, и таким образом, будучи, во-первых, чужды друг другу совершенно, чужды по национальностям, по личной жизни, по личным планам относительно своего будущего, они сходятся в какое-то якобы общество во имя только рубля, одинаково как капиталист, так и рабочий, адвокат, техник, проститутка, журналист, вор, даже монах, и, сойдясь на рубле, они начинают жить уже с нечистоплотною душой: все они сами завели все эти язвы, и потому всякая причина этих язв с их стороны – фальшь и ложь. По совести им нельзя критиковать ничего: все знают, что без этих язв, без этой гадости, нанесенной на девственную почву, *нельзя жить*, что так-то именно, с грязью-то, *нарочно* организованною, и неизбежно жить, и вот почему даже журналист, появляющийся с газетой в таких *новых*, бойких, оживленных капиталом местах и сам желающий оживить свой капитал, неминуемо начинает дело, вводя и в него язву сознательной неправды. Он берет

для своей газеты самый последний газетный шаблон, точь-в-точь как содержатель кафешантана устраивает его по последнему петербургскому образцу: он бурчит в передовых статьях о французском министерстве, радуется возрождению флота, печатает анекдоты скромного свойства, делает заметки с восклицательными знаками о самоубийстве, кувыркается в фельетоне, печатает пикантные рассказы, гражданской скорбью скорбит о неправде – словом, одет по последней моде; но *нет в нем возможности* быть искренним: он искренно шел только за рублем, искренно знал, что без грязи и неправды *невозможно* обойтись, что даже *нужна она*, эта грязь, что ее *нужно* принести в корзинке, выписать по почте и положить на чистое место для того, чтобы жизнь не имела прорех и была *как везде*. Все свои шаблоны пресса такого рода берет готовыми: на пять верст вокруг рубля, который возродил ее, она не видит ничего для себя важного и интересного и, несмотря на внешний лоск и блеск, мертва внутренне, безжизненна, холодна, как труп. Она не оживит, не разовьет ни одного дарования, не окрылит ничьей мысли; она родилась без крыльев или сознательно оборвала их, искренно помирившись с необходимостью грязи и неискренно протестуя против нее.

Почти в каждом человеке, пришедшем на новое место из-за рубля, вы только с огромными усилиями можете добраться до его настоящей человеческой сущности, и всегда она будет чуждая вам. Даже в семейной жизни, в любви не поручи-

тесью вы за то, что рубль не участвовал в ней или не участвует. Задуманные ноты начинают прорываться только тогда, когда дело коснется интимнейших сторон биографии каждого, будь то журналист, рабочий, капиталист. И тогда вы видите, что искренно мыслит всяк из них не о том, что здесь кругом него, а о чем-то далеком. Берлинские, венские, орловские, петербургские, бердичевские горести, надежды и упования – вот где они настоящие; здесь он чужой, среди чужих, здесь он верит только в рубль, и все красивые слова, которые он говорит вам, все только для того, чтобы не видна была (даже и ему самому) его холодная, быть может только временно, но умершая во имя рубля душа.

Это – «ненастоящая» жизнь, и переносить ее даже после самого короткого соприкосновения с народной жизнью, где личная забота неразрывна с душевным настроением, так же как и со всем обиходом жизни, положительно невозможно.

Однако не в этом дело, и мне уже давно следовало бы возвратиться к моим попутчикам.

Я рассказал только про двоих, но в фургоне было, кроме пишущего это письмо, еще два человека: мужичок, сидевший рядом с извозчиком, и, наконец, сам извозчик.

Мужичок с длинными волосами, висевшими длинными космами из-под теплой шапки и падавшими на широкий воротник широкого армяка, имел в лице что-то не вполне крестьянское: эти волосы и бороденка, впалые щеки и тонкий голос – все это заставляло думать, что если он и не из духов-

ных и не знаком с клиросом, то во всяком случае он и не мужик.

Покуда мой цыганского типа сосед и литературным языком излагающий всякие гадости мальчик рассказывали мне свои биографии и планы, мужичок вел непрестанные разговоры с извозчиком.

– Во какие! Груши, например! Яблоки! Господи боже мой! Рубль серебром – сто мер! Под Майкопом – даром бери, сколько хошь! Перед богом, я сам ездил. Орехов – бери, сделай одолжение, хоть сто возов – никто слова не скажет!

Такие слова и полуфразы, произносимые каким-то напряженно визгливым тенором, поминутно доносились до меня в промежутках рассказов об испанских маршалах, одеколо-не, Амстердаме, арфистках и т. д. И когда эти рассказы были окончены, дошла очередь и до мужичка. Можно было вполне слышать все, что он толковал, можно было и расспросить, куда и зачем он ехал. Он был действительно не мужик, но *сделался мужиком*, хотя очень недавно. Отец его был портной и тому же портняжному мастерству обучил и сына. Уроженцы и жители они были Курской губернии. По смерти отца сын продолжал отцовское ремесло, но его увлекло переселенческое движение его односельчан, и он, под впечатлением рассказов о привольных местах, пристал к переселенческой партии без всяких средств и без всяких надежд – и ушел на новые места. Это был нервный, впечатлительный человек. Выбравшись из своей душной портновской каморки

на вольный свет, он был до высшей степени возбужден новизною и разнообразием впечатлений; эта возбужденность не пропала в нем и сейчас: о чудесах кавказских гор и лесов он рассказывает с увлечением сказочника, верит всяким легендам о богатствах, скрывающихся там, в глубине этих гор и лесов. Широта, простор и воля, а главное, свобода мечтания пришлись ему, очевидно, по вкусу: он пристрастился к земледельческому труду, полюбил его, вошел во вкус мельчайших подробностей этого труда и трудовой жизни; наблюдений у него масса – относительно земли, травы, пахоты, дождей, засух, скотины. Земледельческая жизнь заполонила его всего; из работников он выбился в хозяева, женился и вот теперь едет в Екатеринодар, ходоком от всего общества, хлопотать за мужицкие права, попираемые казаком. Впоследствии я подробно расскажу о том, что творится здесь между так называемыми «иногородними», то есть пришлыми крестьянами, и местными жителями, казаками; теперь же скажу, что общество крестьян, притесняемых казаками, сделало удачный выбор: этот неофит в земледельческом труде, крайне впечатлительный от природы и весь проникнутый любовно воспринятыми впечатлениями привольной, разнообразной, поэтической трудовой жизни, – этот ходатай постойт за те пятьсот семейств, которые его послали хлопотать об их деле; этот не уступит, «вопьется» и уже добьется своего, дойдет одним своим тенором, дребезжащим, как колокольчик.

Этот оригинал «сделался мужиком» и рад этому *весь*, рад

до мозга костей, а вот извозчик, который везет этот фургон, наполненный, как видите, оригиналами, – так тот *не хочет быть мужиком*.

– Что, – спрашивает он меня, когда к этому представилась возможность, – не слышали, как железная дорога, не пойдет на Анапу?

– Кажется, не пойдет.

Начинаются продолжительные общие разговоры о новой дороге, причем человек цыганского облика принимает большое участие: он знает дело хорошо. Дорога будет проведена непременно в Новороссийск; г-н Фрейсине затратил там уже большие деньги; даже войны в Греции не будет, потому что тогда г-н Фрейсине не проедет с своим керосином, брат министр этого не допустит; а если Греции нельзя получить Олимпа из-за керосина г-на Фрейсине, то Анапа уже и думать ни о каких получениях не должна.

– А тебе чего так в Анапу-то непременно захотелось? – спросил фургонщика цыганского обличья человек, доказав ему всю несостоятельность его надежд.

– Да домишко у меня там есть. Кабы прошла дорога, продал бы, купил бы земли, детей бы пристроил к серьезному делу, а теперь с чем начать? Начать не с чем!..

Он помолчал и продолжал:

– Уж сколько я твердил: возьмитесь за дело, будет вам шарлатанить! Надобно иметь постоянное занятие, – нет, куда! Старший у меня сын тоже с фургоном ездил, ну и в карты

любит... все думает разжиться легко... Как же! Я седьмой десяток живу – не разжился!.. Теперь вот все Новороссийск у всех на языке... Мой Казимир задумывает вином торговать. Изобрел такое средство, что из подсолнухов будет делать ром, коньяк. «Жареные подсолнухи, говорит, со спиртом большие деньги дадут»... Вот какие затеи!.. Я уж говорил, говорил – ничего нет толку!

– Плохо внушаешь! – нравоучительно сказал цыганского вида человек. – Надобно с детьми поступать строго, без послабления...

– Так-то оно так!

Старик замолчал и молчал довольно долго.

– Оно так! – сказал он наконец. – Это справедливо, что я сам слаб... Да ведь что будешь; делать, кровь-то во мне дворянская! Ничего не поделаешь! Как задумаю о крестьянстве – лучше ничего нет; а как вспомню, что во мне дворянская кровь, так руки и опускаются.

– Нет ничего худого пахать!

– Чего худого: первое дело!.. Навеки человек спокоен... Я ведь это понимаю!.. Да ведь дворянин я, кровь во мне дворянская! Как же я в мужики-то оборочусь? Это уж мне должно быть обидно!..

– Ты откуда будешь?

– Я поляк! У меня все документы дворянские, так как же мне за сохой-то ходить?.. Вот и сыновья тоже не согласны.

– Да, дворянину трудно за соху браться!

– Не трудно, а обидно! Дворянская кровь препятствует.

– Так, стало быть, коньяк из поджаренных подсолнухов будем пить?

Бедный старик горько усмехнулся, вздохнул и не отвечал. И точно, трудно ему: ему более шестидесяти лет, а он все мыкается в фургоне, – стараясь набрать как можно больше пассажиров, а сам поэтому помещается всегда на самом неудобном месте, на подножке у козел, подложив под сиденье мешок с овсом и трясясь всем своим старческим телом на каждой толчке. Но и в этом неудобном положении он старается сохранить свое достоинство. Он не побежит к речке налить для пассажира воды в бутылку – это не его дело; остановится, чтобы сойти и напиться воды, – не сразу и не там, где ему велят, а непременно подальше или поближе; лошадей он не колотит «по морде» кнутом, когда они нейдут, и не орет на них, а слезет и подойдет как-то особенно, не спеша, расставив локти, как певец, приближающийся к рампе, чтобы пропеть грозную арию; «на чай» не просит; к столу, где пьют пассажиры, не подсаживается и вещей не вытаскивает из тарантаса на своей спине. Но при всех этих проявлениях каких-то своих особенностей он еле-еле перебивается, непрерывно ломая свои кости в ежедневной езде. При страшной дороговизне корма трехдневная езда с остановками едва дает ему два рубля чистого заработка. Проездив непрерывно всю страстную неделю, он повез к празднику домой в Анапу всего восемь рублей.

Самый заваливающий казак и самый обиженный судьбою мужик живут покойнее и лучше его. Но что прикажете делать – «дворянская кровь препятствует!», и старик, родившийся дворянином, не хочет умереть мужиком, хотя завидует ему в глубине души.

* * *

Вот первые попутчики первого *полдня* моей поездки. Прибавьте к этим четырем биографиям, ни в чем другом друг на друга не похожим, пятую биографию, то есть биографию пишущего эти строки, намеки на которую были сделаны в первой главе, и вы сразу получите такой букет оригиналов, жизни и цели которых решительно не имеют ничего общего, что маленький фургон должен представиться вам большим романом, не уступающим «Пиквикскому клубу».

Но это только «попутчики» первого полдня. А ведь в нашем распоряжении есть и еще полдня.

IV. Мирошник

1

Выехали мы, все пять типов и оригиналов, с железнодорожной станции часу в первом дня, а в семь часов того же дня остановились кормить лошадей на первом по пути постоялом дворе. Таким образом не более как в течение шести часов я успел познакомиться с четырьмя разнохарактернейшими биографиями (пятую я знал про себя), а с семи часов, то есть с момента въезда нашего фургона в ворота постоялого двора, снова начался новый ряд самых разнообразнейших встреч, знакомств и приключений.

Постоялый двор, куда мы въехали, впоследствии мне пришлось посетить еще несколько раз, и я могу рассказать об этих «остановках» для корма лошадей несколько подробнее, чем рассказывал до сих пор о случайных дорожных встречах. Двор этот стоял поодаль от станицы, в сторонке, потому что хозяин его, казак, держал мельницу, а мельницы всегда строятся на окраинах станиц. Мельница эта досталась хозяину от отца, по разделу между тремя братьями, после его смерти; оценив все отцовское имущество в 4,500 р., братья разделили его так: один взял хороший большой дом под железную крышей, оцененный в 1,000 рублей, и 500 р. должен был ему

же заплатить второй брат, получивший мельницу и маленькую хатку, которые были оценены в 2,000 рублей; третьему досталось разного имущества, скота и т. д. также ровно на 1,500 р. Все три постройки, то есть большой дом под железною крышей, маленький домик среднего брата (содержащего постоянный двор) и только что строящийся *турлучный* (глиняный) дом младшего – все эти дома и постройки стояли целою кучей, гнездом, хотя и были тщательно огорожены друг от друга.

Содержатель постоянного двора, казак, был бездетен, но детей ему иметь очень хотелось, и в то время, когда пришлось проезжать нам, хозяин уходил в Новый Афон (монастырь близ Сухума) молить бога о том, чтобы у него были дети. С теми же целями он и вообще любил богомолья и по часту и подолгу уходил из дома, так что все довольно большое и сложное хозяйство постоянного двора лежало на его жене. Во дворе и в хозяйстве их было много скотины, много птицы; все это нужно было накормить, напоить, выгнать и загнать. Всякий раз, когда мне приходилось останавливаться на этом постоялом дворе, я не мог не дивиться энергии этой казачки, справляющейся с такою массой работ без малейшего утомления.

Это была не совсем молодая, но и не старая, красивая женщина: тонкая, стройная, остроумная и легкая на походке и во всяком труде. Во все три проезда я только один раз видел ее мужа, да и то мельком, – это человек очевидно хво-

рый: то он на богомолье едет детей вымаливать, то к доктору, то к знахарю кровь отворять. Словом, сколько я заметил, все хлопоты лежали исключительно на его жене, энергия которой была возбуждена не столько привязанностью к мужу, сколько иными двигателями: дети у нее уже были и умерли большими, и она уже не питает надежды ни на лекарства, ни на Новый Афон; но ее мучает дрянной домишко, в котором приходится жить рядом с большим домом мужнина брата, мучит необходимость расплатиться с этим братом за мельницу и, наконец, необъяснимая в крестьянах, если так можно выразиться, жадность к тому, чтоб всего было больше и больше. Во все три проезда через постоялый двор я, попадая сюда в разные часы дня, мог видеть весь обиход жизни рабочего дня и невольно дивился неутомимой энергии этой неустающей худенькой женщины. Ночуя в фургоне на дворе, я видел, как она еще до свету (еще месяц стоит на небе) уже выходила из избы босиком в шубе и проворно бегала туда и сюда; в маленькой хатенке было все выбелено, вычищено ее собственными руками; весь угол с образами был изукрашен всякими искусственными цветами и расшитыми полотенцами; кровать, подушки, одеяло – все носило следы самой тщательной работы иголкой, старавшейся не только сшить, а изукрасить каждый ситцевый вершок. И как в каморке этой был изукрашен каждый вершок, точно так же и каждая минута дня была у нее наполнена непрерывною домашнею суетой и хлопотами, исчислить которые нет никакой возмож-

ности. Ко всей нескончаемой возне со скотиной, птицей прибавьте еще возню с приезжающими, с извозчиками, которым надо отвесить овса и сена, сварить обед, поставить самовар, для которого надобно на своих плечах принести воды, поговорить со всеми так, чтобы все остались довольны, и подивитесь, на какую массу труда способен человек худенький, тощенький на вид, – труда непрерывного и к тому же не оставляющего никакого изнурительного следа. Хозяйство ее шло как-то так удивительно стройно и раесчитанию, что, кажется, пылинки не пропадало в нем даром, все шло на потребу, до последней скорлупки: коровам, телятам, свиньям, курам, гусям, кошкам, собакам; даже помой от кувшинов с молоком, от чашек и тарелок после харчеванья приезжих – все это поглощалось также какими-то ртами, которые где-то терпеливо ожидали этих именно помой и, получив их в известное время, самым приятным манером жевали, лакали, сладко ворчали где-нибудь под печкой, на дворе, под лавкой, а чаще всего во всех этих местах.

И вся эта суета и непрерывное движение, ходьба, даже беготня по домику, по двору, по полю, вокруг и около всего этого, все это переливание помой разного звания и качества из малых горшков в большие, собирание в кучу всякого мусора и объедков – все это ни малейшим образом не делалось зря и необдуманно; напротив, все делалось с самым тщательным расчетом, все делалось своевремененно, обдуманно, все, весь дом, все хозяйство напоминало химическую лаборато-

рию и было полно ума и несомненного, хоть и доморощенного знания.

Хозяйка, очевидно, имела совершенно определенную цель в жизни, к которой и шла прямою дорогой, летела, как стрела, ни на минуту не останавливаясь, не обиваясь «с ноги» и не сомневаясь. И вот эта-то определенность цели и обилие ума, вложенного в ее достижение, давали ей возможность со всем огромным количеством труда, который лежал на ее плечах, справляться почти без всякой чужой помощи, если не считать маленькой десяти годов девочки, получавшей рубль в месяц, да мирошника, которого еще надобно было суметь подчинить себе, подчинить совершенно без всяких приманок, не говоря о деньгах, о которых и помину не могло быть. И тут, в подчинении своему хозяйству совершенно постороннего здорового, сильного человека, в этом деле также виден далеко недюжинный ум и такт хозяйки.

Мирошник работал на мельнице, принадлежавшей хозяевам постоянного двора, из-за третьей мерки или из-за третьей копейки. Это был человек чрезвычайно своеобразный. По виду это невысокий, но коренастый, сильный человек с кривыми и сильными, как у сатира, ногами. Из-под низкого лба смотрели простодушно «по-девичьи» голубые глаза, а голос был мягкий, сдобный, бабий. Эти бабьи черты, при его полуказацкой внешности, в общей сложности производили такое впечатление, что, взглянув на него, послушав его голоса, хотелось улыбнуться. Полуказацкий вид его был такой:

голова была обстрижена по-солдатски под гребенку, но зато борода, не бритая после солдатчины, разрослась буквально лопатой. Он был уроженец одной из внутренних губерний, служил во флоте в Черном море, а по окончании службы не пожелал воротиться домой – никого там у него нет, – а пошел в «Черноморье», да вот и оказачился, живя в мирошниках.

И мирошника этого случалось видеть мне каждый раз, когда мне приходилось останавливаться на этом дворе. Каждый день он довольно рано приходил сюда с мельницы ночевать и всегда как-то невольно, по натуре, увлекался той бабьей суматохой, которая вечером с приходом скотины достигает высшей степени. Военной многолетней службы своей он как будто совершенно не помнил; ни о чем военном никогда не говорил ни единого слова, политикой не занимался, но что-то женственное, что таилось в нем, видно было в глазах, слышалось в голосе, влекло его к женской мелкой суетне, и он больше всякой женщины оживлялся тем мелким «живьем» обыденной жизни, в кругу которого вращается женская жизнь. О цыпленке, которого съела собака, он толкует с таким же искренним волнением и негодованием, как и эти женщины, которые сошлись со всех трех дворов трех братьев и сделали из съеденного цыпленка не только серьезный вопрос, но развили его в целую интермедию со смехом, с шутками, бесчисленными разговорами, остротами и даже беготней от мирошника. Тут, среди баб и их тревожных, мирошник был как раз на своем месте; здесь он принял

живое участие в цыпленке и обследовал все качества собаки, все рассудил и разобрал, а там он что-то про ребят беспокоится, нянчит (сунут ему – он и нянчит и «заговаривает» ребенка), а там открылось, что еж яйца таскает, и мирошник лезет под копну соломы, лезет с головой прямо в солому, выдирает ежа со всем его семейством, обдирает до крови руки, но увлекается во всем этом чисто по-женски, доходит до самого искреннего беспокойства.

– Нет, уж теперь тебе не жить! – весь потный и волнующийся говорил мирошник, таща ежа на смерть, как самого лютого врага, и окруженный целою толпою стрекотавших, как птицы, женщин, детей и подростков.

Убиение ежа происходило как раз в то самое время, когда на постоялый двор въезжал наш фургон, наполненный типами и оригиналами. Наше знакомство с мирошником состоялось в самую для него благоприятную минуту, он был окружен толпою женщин, удивлявшихся его подвигу, чувствовал себя на своем месте и при всеобщих похвалах, расточаемых женщинами, отирая пот, видимое большим удовольствием принимал эти похвалы.

Расстегнув свой ситцевый стеганый казацкого покроя бешмет, мирошник сел на лавку в общей комнате, где хозяйка приготавливала нам чай, достал кисет и, свертывая цыгарку, рассказал нам всем:

– Я гляжу, семь яиц лежат под соломой! Что за чудо? А Дарьюшка давно уж жалуется: куда это яйца деваются?.. А

смотрю, он вылез и носом пхает яйцо-то в нору!..

– Уж и спасибо мирошнику! – внеся самовар и ласково смотря на виновника торжества, звонко заговорила хозяйка. – И не доглядеть, не доглядеть!.. Восемь кур несутся, а нету и нету яиц! И не задумаю, что такое?

– Теперь не будет! – самодовольно сказал мирошник.

– Коли б не добрый человек, как бы я сама-то догадалась? И так дела не переделать.

– Я давно его караулил! – с не меньшим, чем и прежде, самодовольствием проговорил мирошник. – У маня не уйдет!

Умная, расчетливая, деликатная хозяйка рассыпалась в похвалах доброте мирошника. Расточая эти похвалы, она стояла рядом с ним, покровительственно положив ему на плечо руку. Мирошник не смел пошевелить плечом от удовольствия.

– Ох! – сказал, иронически покачивая головой, человек цыганского типа, – что-то ты, хозяйка, уж очень расхваливаешь мирошника!.. Где муж-то?

– У поли.

– То-то «у поли»! Как ни приедешь к тебе, все твой муж «у поли», а мирошник все тут, в доме торчит! И все ты его расхваливаешь! Ох, уж ваша сестра...

– Так отчего же не хвалить доброго человека? Мы добрых людей любим!

И чтобы отстранить подозрительный и иронический намек, хозяйка тут же рассказала о каком-то плотнике, тоже

добром человеке, который несколько лет тому назад также работал на мельнице и всякий день, как только кончит работу, так сейчас и идет ей помогать в хозяйстве и совершенно бескорыстно, по доброте. Она так умно и хитро похвалила доброго плотника, что, вероятно, мирошнику пожелалось превзойти его по этой части, и в последующие приезды я видел уже, что он не только таскал из нор ежей, но уже и воду носил, и самовар ставил, и сена пудов по пяти сразу таскал на своей крепкой, широкой спине. А хозяйка постоянно осыпала его похвалами, и всегда лицо ее, обращенное к мирошнику, было самое ласковое и любящее.

Рассказав про плотника, хозяйка дружески похлопала мирошника по плечу и оказала:

– Нет, у нас ничего этого нет с мирошником! Не такие мы люди!

– Ох, так ли? – усомнился цыганский тип.

– Ох, уж и мастер ты языком звонить! – шутливо и в тон цыганской речи ответила хозяйка и ушла, улыбаясь.

В комнате, где мы пили чай и сидел мирошник, покуривавший «цыгарку» и молча своими веселыми «девичьими» глазами смотревший на нас во время шутливого разговора, – кроме всех нас находился еще один посетитель, местный казак. Это был уже настоящий казак. Он сидел на лавке, заложивши руки в карманы распахнутого старого бешмета, откинувшись спиной к стене и вообще раскинувшись всем телом с полнейшей непринужденностью. Все время он молчал,

как «посторонний», пришедший по своему делу, и, повидимому, был совершенно равнодушен к нашим разговорам. Но когда ушла хозяйка, он кивнул головой в сторону мирошника и, обращаясь ко всем нам, сказал лениво, медленно:

– Любят его бабы... Секрет знает... Спроси-кось у него, много ли у нас в станице его казачат бегают?

Все засмеялись, и мирошник, вспыхнув и покраснев, тоже улыбнулся, но чрез мгновение неожиданно ответил очень серьезно:

– Потому что ежели бы был указ землю поделить и чтоб землю бы мне дали – ну тогда другое дело!.. А то что я без земли? А что, господа, не слышать: выйдет указ, чтобы и иногородним землю нарезать? – неожиданно обратился он к нам.

Но флегматически сидевший и говоривший «посторонний» казак опять кивнул головой в сторону мирошника и опять лениво, медленно и флегматически проговорил:

– Указа нету насчет земли! Ишь как оборачивает! А с бабами-то, когда к ним подбираешься, небось не о том разговариваешь? «Будем, мол, Маруся, или там, Дарьюшка, будем с тобой как брат с сестрой!» Указа нету! Не землей и не указом, поди, на мельницу баб-то заманиваешь!..

– Что ж?.. Брат с сестрой, – уклончиво пробормотал мирошник, – тут худова ничего нет!..

– Еще бы худое! «Будем с тобой как духовные, вроде ангелов!», а потом и нарезавай твоим ребятам землю... Самый

настоящий брат духовный!

– Что ж, нарезывай? Земля божья, а ребята – слуги царские!.. Царю помочь!.. Тут худова нет. А вот девочку обидели: ей тоже десятину бы по закону следует, а не дали!

– Да ты как же можешь это говорить? – немного разгорячившись, сказал казак. – Девочке твоей не дали!.. Да твои пять ли, шесть ли там ребятенков сколько земли-то стянули казацкой? По девятнадцати десятин на душу оторвали для твоих духовных-то поросят!.. А то девочку обидели!

– Одна десятина – не велик кусок! – не глядя ни на кого, проговорил мирошник. – Все бы ей годилось.

– Вот он какой, мирошник-то! То-то его и любят. Умеет он орудовать... «брат, брат», «сестра, сестра», а глядишь – то там мальчонка появился, то тут – и всё мирошниковы!.. Ловок парень, нечего сказать!

– Что ж? – смиренно сказал мирошник, опустив глаза. – Дело это было по согласию... Кабы ежели указ бы. А то указа-то нету...

Тут всей компании стало так весело от смешных и наивных слов мирошника, что разговор несколько со скромным оттенком не прекращался довольно долгое время. Наконец всем захотелось спать.

Когда все разошлись на ночлег, кто под сарай, кто в фургон, мирошник понял, что похвалы, только что полученные от такой славной, умной женщины, понимающей «умных людей», – что эти похвалы обязывают его также быть лю-

безным и внимательным к ней; он понял, что ему надобно остаться в избе, перемыть чайную посуду, убрать самовар и все привести в порядок. Он тотчас же и принялся за работу. Перекинув через плечо полотенце, он совершенно «по-бабьи» принялся орудовать с посудой.

Была у меня бутылка дешевого станичного вина, так называемого «прасковеевского». Выпили мы с мирошником по стакану вина и разговорились.

– Однако, – сказал я, – пробрал тебя казак-то!

– Они, разбойники, давно меня жмут! Убить было соби-
рались, дьяволы! «Ты, говорят, не имеешь: права своих бай-
стриючков нам в казаки присоединять!» А как стали мерить
землю, так они и сами всех моих байстриюков за своих вы-
кричали: «наши! наши!» Стало быть, от моих потомков ни-
чего худого не вышло, каждый принес в дом по девятнадца-
ти десятин... Вот только девочка не попала в размежевание!
Уж после межовки родилась она тут у меня в одном месте...

– Как «в одном месте»?

– Да так, значит, в одном семействе.

Мирошник вытряхал уголья из самовара.

– В одном, значит, семействе оказалась девочка... моего,
например, происхождения.

– Однако они правду ведь говорят, – сказал я мирошни-
ку. – Всё ты в семействах?..

– Так, в семействах! Так я-то чем виноват? Коли бы на-
шему брату, иногороднему, была земельная нарезка – ну, в

то время я бы, может быть, и переломил себя как-нибудь на хлебопашество, следовательно, на закон... то есть в брак бы должен. Ну, а как же я осмелюсь принять святой закон, например, божий, ежели я вполне округлен без земли? Какое же может быть моим детям обеспечение? А не жениться – так как же? Баб много всяких; ежели бы я имел какие пустые мысли, так это сколько угодно; иной еще и слова не сказал, а она уже согласна на свое преступление. Ежели бы я какие подлые мысли имел, так я на мельнице-то словно бы султан персидский существовал и ответу бы никакого на мне не было... А только я этого не люблю и на такое пустяковое дело не согласен никогда!.. Мне надобно не это, а чтоб была у меня в жизни приятная сестра. Я ведь тоже как перст один, наломан на службе довольно – мне надо иметь заботу в жизни, чтобы с «удовольствием» была эта забота. Примером сказать, вот хоть понадобилась мне рубаха – чего бы, кажется, делать? Взял пошел на базар, отдал тридцать копеек – вот и все: А мне так-то скучно жить. Я пять целковых тебе в подарок или в подмогу дам, а ты мне сама, как сестра брату, возьми да принеси рубаху-то! Вспомни! ты меня только вспомни, а я тебя вовеки не забуду... Много их на мельнице-то ко мне подскальзывают и так и этак, только что я внимания на это не даю, а которая придет, да по совести вздохнет, да посоветуется, как на духу, да увижу я в ней приятную совесть – вот она мне и сестра. «Чего тебе надо? Хлеба? Вот тебе! Ребятишкам сапожонки? Бери три рубля. Я твою нуж-

ду знаю и чувствую, что тебя муж бьет, что твой муж пьяница, – все это я принимаю к сердцу, а ты мою доброту к сердцу прими. Я на мельнице сажу, а ты дома обо мне вспоминай». Вот какое мое желание. Ну, а конечно, уж как-нибудь там впоследствии времени происходят дети – так ведь как же тут? Это уж никак невозможно!

– Ведь мужья-то, я думаю, как жен-то бьют за тебя?

– Так ведь они, подлецы, и так их колотят зря. Сам пьянствует по чужим местам, жену морит на работе, а придет – и давай дурить... Вот таких-то, неповинных-то, мне и жалко, а не то чтобы которая прямо на тебя намеревается с пустяками. Да еще и так возьмите: ну, пушай он ее бьет там, за косы рвет, всячески издевается – так ведь со мной-то она не одна! Ведь на мельнице я существую! Прибежит она: «так и так, то и то!» и плачет – так ведь я ее привечаю, всячески делаю ей приятное. Бывает и так, что посоветуемся: «как быть?..» «Подари-ко, говорит (предположим), корову – может, он поутихнет, потому и евоным детям молоко надо»... И только мне скажи, так я все тебе предоставлю; есть у меня деньги – на, получай, покупай... а нельзя тебе со мной по совести жить, или мужа опять полюбила, или он сам потишел, пьянствовать перестал – оставь! Живи по-хорошему – бог с тобой! Я худова никому не согласен делать, я и жить-то для худова не согласен. «Живи, как тебе лучше. И мне-то будет приятней. Чего мне насильно-то? Хорошего народу много! Пошлет бог, и другая уйдет от меня не с худым. Я с тобой

так же, мол, по-хорошему норовил!..» Ну, а как мне раз попадется баба характерная, да потянет силом, да захрапит, да заругается, да ребенком начнет в морду пхать, да почнет теребить да жаловаться – ну уж этого я окончательно терпеть не могу! Ту ж минуту – прочь от нее! Даже алтына не дам – пошла прочь! Нет тебе от меня никакого снисхождения, пока по совести поступать не станешь: бери от меня, что совесть дозволяет, а силом ни во веки веков. Жалуйся! Пускай чрез станичное правление хоть все мое состояние взыщут, а ко мне на глаза не показывайся; я тебя утешать не согласен. Иди по начальству!

– А бывало разве что-нибудь подобное?

– Как не бывало! Иная возьмет ребенка-то да вместе с ним эво какого скандалу по всей станице наделает! Ну, потом, конечно, образумится, войдет в понятие, утихнет. «Прости, говорит; нет ли, мол, муки мне?» – «Муку-то, говорю, возьми – на, а ко мне на глаза не показывайся!» Теперь вот все довольны; сколько земли-то через мой характер получили! А то как не бывало!.. Одна вдова разыгрывала со мной такую игру – думал, жив не останусь. Точно, полюбила она меня крепко, надо уж говорить правду, по совести сказать, мы и сейчас с ней живем как муж с женой: двое у нас мальчиков, третья девочка. Но только случилось однажды так, что рванула она меня за живое мясо не по-сестриному! Слава богу, теперь все прошло, а горячего я все-таки от нее хлебнул порядочно! И вот как это было дело: познакомился я с

ней на свадьбе у одного казака: вижу, сидит самая приятная женщина. Думаю: ах, какая она приятная! И так мне захотелось взять ее в мои приятные друзья! Помаленьку-полегоньку, так и сяк, словечко по словечку, расчувствовал-таки я ей душу; стала она мне доверять. «Тебе, говорю, одной трудно, а мне, говорю, одному холодно; будем жить как брат с сестрой; хлеба у меня много, деньги есть, что тебе понадобится – все дам, только спроси. А меня за это самое как брата помни, в мыслях своих имей и беспокоивайся обо мне как о родном. Только всего мне и надобно. Так мы с тобой и будем жить на белом свете». А совесть у нее, у Марьи этой самой, была опрятная, душа совестливая, худых мыслей она себе в голову не пускала. Подумала, подумала она. «Хорошо! говорит. Давай так жить! будем друг дружку беречь. Так-то нам обоим будет жить веселей!» Ну, поцеловали друг дружку для начатия, богу помолились и стали жить. «У тебя и постели-то нету никакой?» Пришла на мельницу, все осмотрела. «На тебе одеяло, а подушку после справлю». И подушкусправила... «А тебе чего не надо ли?» То-то и то-то, мол! «На, бери!.. Давай чай пить». – «Давай!.. Рассказывай, как на свете жил, что видел?..» Ну, я ей все подробно, как что было с детства. «А ты как?» А я вот как, «Ну, пора домой!» – «Пойдем, провожу». Ну вот таким родом... Что она надумает про себя, все мне расскажет. Что я надумаю, опять же ей все скажу. На ярмарку едем вместе; купим, что нам нужно. На богомолье вместе. По хозяйству что нужно – «приди, по-

моги!» – «Приду»... И очень у нас хорошо шло так-то... Живем как родные – ей точно брата родного бог послал, а мне родную сестру... И жили так с полгода... Ну, конечно, сами знаете... ведь тоже люди!.. Как же уж? С течением времени рождается младенец мужского полу. Что ж? ничего! Слава богу, сын – царю помочь! Люди, конечно, судачат – то, се, – пускай! Ей обидно – я утешу; мне от этого худо – она придет с мальчишкой – мне и весело... Ну, идет время, и замечаю я в моей Марье очень вредный взор в глазах, и слова у нее стали не очень простые... «Что мы, говорит, как цыгане живем, друг к другу в гости ходим?» Я говорю: «Что ж делать?.. Должность у меня при мельнице, оставить нельзя, а тебе тут и места нет». Была у нее своя избенка... Постепенно начинает она умудряться на разные манеры. «Коли любишь, так женись!» Этаким образом! Я говорю: «Жениться мне невозможно – земли нету, хозяйства нету; а коль скоро я жениюсь, так вместо одного будут и другие дети – чем их кормить без земли-то? Кабы указ вышел о нарезке... Ну так! А пока давай жить опять как брат с сестрой, а мальчишку вместе будем растить. Все, что у меня есть, – все ваше». А ведь в то время и прежним моим сестрам все нет-нет да дашь на поправку. Так мне невозможно было из моих средств семью заводить и хозяйство. «На мальчонку, говорю, хватит, а сами давай как брат с сестрой»... Ну, однако, она что дальше, то хуже. Какой уж тут брат! «Какой ты мне брат, говорит, когда вот есть мальчишка, существует? Нешто я сестра тебе, когда

есть дитя? Что врешь-то?» Я опять же ей свой резон: «Коли бы ежели вот землю...» И не слушает! Ровно помутилась, очумела и одурела, так и лезет с ножом к горлу: «Женись, дьявол!» Ну, а когда со мной таким манером, так уж и я делаюсь несогласен. «Пошла, говорю, вон, коли так!» Она, ни много, ни мало, прямо в станичное правление, в суд, жалобу! Засудили меня, засрамили, взыскали сразу четвертную да каждый месяц обязали давать ей по пяти рублей! Все она подвела, подъездила, чтобы меня притиснуть за горло. Не довольно того – является после суда, говорит: «Женись, дьявол! Деньгами ты меня не укротишь. Сожгу, говорит, тебя и с мельницей с твоей вместе и яду, говорит, тебе дам такого, что в одну минуту околеешь, как собака!» Ну, тут уж и я пожаловался на нее в станичное, а ей самой ружьем пригрозил. «Покажись, говорю, так и шарахну!» Отстала. Канула, как в воду. Разрывается моя душа на части, потому я знаю ее совесть и понимаю, что все это она по любви, а не по злобе. Скучно стало мне, и сказать не умею как. Тяжко! Полгода протянулось, ничего слухов нет, а взыскание в станичное идет... Только вдруг, нежданно-негаданно, глядь – и сама пришла! Мальчонко на руках; пришла она прямо из церкви, причащать его носила, и сама такая румяная, ласковая. Поздоровались, как ни в чем не бывало; рада-радехонька! Она и говорит: «Ну, говорит, Никитушка, прости меня: дура я была, твоих слов не понимала, а теперь все обдумала и уделала свою судьбу по-хорошему. Теперь, говорит, и земля у меня

есть, и ребенок в казаки принят, и никакого сраму не будет. А жить мы с тобой будем как муж с женой, и насчет предбудущих младенцев нисколько не опасайся и не беспокойся – все будут законные и все казацкого звания». – «Как же это, мол, ты так уделала?» – «А вот как», говорит. И рассказала она, как все это дело вышло. Как прошли в ней угар и злость, одумалась она, поняла все мои слова и взялась за ум. Нашла она сваху, а та и сосватала ее нарочно за старого-престарого казака, лет ему под шестьдесят, одинокий; в сторожах кладбищенских служил. Вот словили они этого старика и уломали и умаслили. «Женись на Марье, – сваха-то ему, – она, мол, тебя до конца дней кормить, поить, обувать, одевать, покоить будет; будешь жить как в родном семействе, а вместо того прикрой стыд женский, а ребенка возьми в наследники. Чего, мол, тебе? Ты старый человек, о грехе тебе и в ум не должно вступать, имущества у тебя нет – чего тебе стоит грех прикрыть да в спокойе век вековать?» Не утаили и про меня. Расписали: и он бы женился, да не казак, хозяйства не на что начать... Все как должно. Одним словом, соблазнили бабы старика. «Ладно, говорит, псовки, сделаю я вам доброе дело, а вы меня покойте с твоим любезным...» Поп-то не хотел было венчать, да тоже понял, когда бабы ему надребезжали про меня... Понял. Хороший у нас поп, понимает все по человечеству... Повенчал. Ну вот теперь и живем с ней...

– А старик?

– А старик ни в чем не касается... Кормим его, поим, уго-

ждаем, а он ребят на себя записывает... «Пиши, говорит, Никита, ничего! пиши в казаки, всё царю помочь!» Теперича я как отработаюсь на мельнице, так и домой... к ночи всегда домой... Ну, а ежели здесь ночуешь, так тоже нельзя не подсобить: хозяйева, да к тому же и люди хорошие, нельзя! Надо жить дружно... И старик ничего, хоть иной раз злые люди его и подбивают на худое; иной раз наслушается их, да и захрапит. Однава пьяный: «Откажусь, говорит, от детей!.. не мои!..» А то так вот как злодеи подвели – насоветовали так: «Ты, – говорят старику-то, – второго ребенка воспитывай как родного сына, а про прочих говори ему, второму-то, про родных его братьев, что они незаконные; вот он этой бабе-то, обманщице, которая, мол, тебя, старого дурака, окрутила да заставила своего любовника прикрывать, – он-то и отомстит ей за все!» Это, следовательно, родной сын да родной матери отомстит! Вот ведь змеи какие есть между людьми крещеными! И иной раз так еще разожгут старикишку – напоят его, доведут, что кричит: «Эй! жена! иди, мол, ко мне – я муж!» Ишь, подлецы какие! Ну только я уж этого не позволяю. «Только, говорю, посмей – тут тебе и конец на веки веков. А хочешь жить по честности – все тебе будет». Ну, подурит, подурит – перестанет... Да не умирает что-то, старый пес! Коли бы умер, так уж я бы мельницу-то покинул да к Марье как-нибудь, жить вроде работника в доме, примостился. Земли у нас теперь на три души нарезано, слава богу!.. Кабы ежели бы нарезка раньше была, так оно

не так бы было... А то уж про меня галдели, галдели, хаяли, хаяли... А что я, чем виновен?

Так вот сколько разного рода людей пришлось мне увидеть только на первых порах моей поездки! А за этими первыми днями пошли всё такие же разнообразные и любопытные дни, недели.

На следующей остановке слышу длинную и трогательную историю молодой жены, брошенной мужем с двумя детьми и одиноко борющейся за свое существование; на следующем ночлеге покинутый женою муж рассказывает мне трогательную историю на самую современную тему: «ушла жена», и так далее, каждый день, при каждой остановке, ночлеге, встрече, при каждом малейшем столкновении с случайно нужными или просто встречными людьми. Все неурядицы, все горести, тяготы и в то же время все неудовлетворенные желавия – мечтания Великой, Малой, Белой России – все принесены сюда на новые места выходцами, и на них, как на «образчиках», можно ознакомиться довольно основательно со всем, чем «живет» современная Россия. Нужны какие-нибудь особенные побуждения, чтобы человек бросил родину, знакомые, родные места и ушел бы искать счастья на чужой стороне; такой человек идет с своим горем, с своим планом, с своею фантазией, и поэтому все эти люди разного звания, будучи образчиками общих условий русской жизни, в то же время оригинальны каждый на свой образец. Неудивительно поэтому, что несколько дней пребывания среди таких ориги-

налов, постоянно знакомивших меня с самыми оригинальнейшими биографиями, настолько отучили мое внимание от явлений обыденной жизни, что я помимо воли стал задавать себе вопрос: «какой-то оригинал мне теперь попадется?» – всякий раз, когда приходилось въезжать в новую станицу, на новый постоялый двор или даже просто садиться в новый фургон.

2

Именно вот такой-то вопрос задал я себе и тогда, когда пересел с парохода, доставившего меня в одно местечко на черноморском побережье, на фелюгу, которая должна была перевезти меня с вещами на берег. Сидя на этой фелюге и любуясь видом приближавшегося берега, на котором чуть-чуть были заметны очертания чего-то живого, я по привычке и вполне бессознательно спросил себя:

– Каких-то теперь оригиналов пошлет мне судьба в этих новых местах?

И едва я подумал, и сказал это, как «оригиналы» немедленно же предстали передо мной в весьма значительном количестве и притом совершенно нового, особенного качества. Начался «мечтатель», «утопист», «фантазер».

Часа через два по приезде в «местечко» мне пришлось ехать на маленьком частном пароходе, которым управлял молодой семнадцатилетний мальчик. С первых слов оказались, что мальчик проникнут учением Л. Н. Толстого, что он нарочно приехал сюда на побережье, чтобы здесь начать жить трудами своих рук, в чем он и нашел поддержку со стороны одного лица, преданного тому же учению. Это первая встреча.

На следующий день фелюжник Мустафа, обезьяноподобный турок-лодочник, сидя у руля своей фелюги, медленно

подвигавшейся по неподвижному морю, доставляя меня и одного молодого человека к нашим общим знакомым, ломаным русским языком, коверкая имена и фамилии, рассказывал мне длинную историю про каких-то «Миколаичей», которых он очень хвалил и вспоминая о которых, закрывая глаза, причмокивал, покачивая головой. Эти «Миколаичи» были «господа», но жили здесь лет пятнадцать тому назад как простые крестьяне:

– Барина рубах сама стирал, на море сама таскал!

И жили эти «Миколаичи» таким образом именно потому, что были люди хорошие. По словам Мустафы, один из этих «Миколаичей» задумывает творить на этом побережье чистые чудеса. Начав о нем рассказ, Мустафа стал бормотать воистину какие-то ни с чем несообразные слова:

– Мельница будит ветир хватать, из мельницы будит огонь в проволоку бежать и масло бить!

Во время этого рассказа обезьянье лицо его разгорелось, он махал руками, повидимому изображая мельничные крылья, пыхтел, потел – и все-таки я бы ровно ничего не понял, если бы впоследствии один из местных аборигенов (разумеется, «оригинал») не объяснил мне, в чем дело.

Оказалось, что этот «Миколаич» хотел основать трудовую общину и во все работы, требующие физическую силу, ввести силу электрическую, добывая ее силою ветра²³.

«Миколаичи» жили здесь лет пятнадцать тому назад, но и

²³ В настоящее время такие попытки уже осуществляются на деле.

по уходе их побережье не оскудевает всякого рода Миколаичами. В одном дне пути по побережью от: упомянутого выше «местечка» живет отставной военный человек, изобретающий статистическую машину. Можно будет взять на ней, как на пианино, аккорд известных цифр, по известным вопросам, и вместо звука получатся выводы, также цифровые. А в двух-трех верстах здесь семья образованных людей уже устроилась по-крестьянски и живет трудами рук своих. Затем говорят о каких-то «богочеловеках», которых приютил фабрикант, уступивший им лоскут земли.

Как видите, все эти черноморские оригиналы далеко уже не того сорта, как оригиналы кавказских долин и тех «новых мест», куда капиталу есть расчет появиться. Есть расчет туда появиться и земледельцу – земли много; есть расчет прийти «на новые места» и аферисту, и темному человеку вообще, и человеку рабочему, поденщику, превращающему теперь, благодаря дешевизне своего труда, всякого казацкого урядника в помещика и «аристократа». Всем, кому нужны скорые средства к жизни, – все тянутся туда, на новые места. Черноморское побережье неудобно для такого сорта людей. Крестьянину нет даже и земли; капиталисту неохота тратить огромные капиталы в ожидании отдаленного барыша. Аферисту нечего делать с шакалами – и вот сама судьба указала путь на это побережье фантазеру-мечтателю, одинокому человеку. Сначала сюда пришли административные мечтатели; они и заселяли, и расселяли, и учреждали города, стани-

цы, рыбоводство, рыболовство, скотоводство, мореходство и бог весть что; за ними пришли практические люди, расхватали все побережье и сконфузились. Стали витать над побережьем какие-то легенды о вольном казачестве²⁴, пришли откуда-то из Абиссинии какие-то мечтания насчет этого самого побережья и сошлись невидимо с мечтаниями о том же самом прежних «Московских ведомостей» – словом, мечтания, легенды, сказки, проекты, чудеса в решетке реяли над этим берегом с той самой минуты, когда он опустел. А теперь вот появились толстовцы, статистические пианино, ветер «пускает огонь и бьет масло по проволоке», затем богочеловеки на купеческой земле появились – словом, всякая фантазия, всякое мечтание продолжает властвовать и царить над этим пустынным и прекрасным берегом.

Находясь под обаянием этого мечтающего и полного мечтательных воспоминаний берега, стал мечтать и я. Сидел я однажды на берегу моря и возмечтал:

Почему бы на этом пустынном, пока никем не занятом берегу не попробовать в самом деле осуществить мечтание о трудовой жизни в виде *школы всесловной*, из которой человек мог бы выйти не в работники куда-нибудь и на кого-нибудь, а прямо мог бы сесть на этой же земле *хозяином*? Хозяин-мужик страдает от невежества, от незнания, от тяже-

²⁴ ...*легенды о вольном казачестве...* – намеки на авантюры Н. И. Ашинова (см. выше примечание к рассказу «Урожай», стр. 617) в Абиссинии, по заселению «вольными казаками» черноморского побережья и на содействие ему в этом реакционера М. Н. Каткова, редактора «Московских ведомостей».

сти, неуклюжести труда – почему же не попробовать образовать человека, живущего по тому же мужицкому хозяйскому плану и типу, но снабженного всеми облегчающими каторжную сторону труда знаниями? Ведь теперь машина служит только греховоднику-капиталу и убивает человека в рабочего. Не может ли она, эта машина, приспособить себя к облегчению жизни каждого трудящегося человека? Соха, борона, коса, шило, топор – все это машины в крестьянском хозяйстве, средства облегчения труда. Неужели же на этом и окончится пришествие в крестьянский дом всего, что облегчает крестьянский труд?

Все существующие в настоящее время учебные заведения имеют в конце концов целью выработать человека *служащего* – все равно государству ли, обществу ли, капиталу ли; но кто же не согласится, что, несмотря на значительные ограничения в количестве желающих поступить в эти учебные заведения, – людей, стремящихся существовать службою и жалованьем, несравненно более, чем могут поглотить все существующие государственные, частные и общественные учреждения, требующие слуг, работников? Не говоря об огромном количестве образованных людей, бьющихся без места, как рыба об лед, которыми переполнены все города и веси, – сколько смертей, сколько самоубийств ежедневно совершается на наших глазах единственно из невозможности *существовать*, то есть пить и есть, и кому же? – человеку образованному. Недавно, кажется в Ковно, портные и другие масте-

ровые хоронили вскладчину умершего почти с голоду гимназиста. Другой гимназист, сколько помню в Динабурге, повесился от невозможности существовать. Некоторое время его вскладчину содержали какие-то арфистки, помогая из своих горько-трудовых копеек; гимназист, лишившись этой последней помощи и не видя ниоткуда ни малейшей надежды на поддержку, повесился на дереве, а за неимением бумаги и чернил мелом написал на заборе укоризненное для общества объяснение своей смерти. Но та часть этого интеллигентного *служебного* пролетариата, которая, несмотря на все невзгоды, все-таки кое-как устраивается и, так сказать, заставляет общество поглотить себя и дать средства к существованию, обречена существовать только народным расстройством и непорядками народной жизни: юрист, которому нет места в городе, проникает в деревню, заводит здесь клязу и кормит этим свою семью, то есть он существует только потому, что пользуется неурядицей в народной среде, и так как он с этой неурядицы берет средства к жизни, то есть отнимает их у расстроившихся в хозяйстве людей, то он и потомство, которое он народит, должны для продолжения своего существования рассчитывать также прямо на клязу, на расширение народного расстройства, которое им и дает именно средства к существованию. Расстройство же народной среды отражается обилием крестьянского пролетариата, который, проникая в города, образует босые команды; эти команды требуют расширения тюрем, увеличения полиции, размножают *дела*

в судах, и это размножение размножает служащих, размножает расходы; служащие размножают свое поколение, а оно требует новых служебных мест и жалований.

Таким образом, расстройство народных масс находится в весьма тесной зависимости от обилия служебного пролетариата, растущего с каждым годом во всевозможных, дурных и хороших, формах, вполне, однакоже, одинаковых в средствах жизни: для худых и хороших целей средства берутся все-таки с трудящегося человека. Между тем уже и в этом самом «служащем» сословии не раз уже высказывалась мысль о земельном наделе, как о самом правильном выходе из затруднительного материального положения и как о возможности не чувствовать себя всю жизнь «неправедно» живущим. Недавно поднят был вопрос о земле сельскими учителями. И если бы ему было дано какое-нибудь практическое осуществление, то несомненно, что о земле завопили бы и другие бесчисленные служебные профессии, прокармливающие теперь свои семьи единственно народным расстройством. Мы могли бы привести здесь множество подлинных документов, свидетельствующих о том, что жажда «земли» и желание жить земледельческим трудом, то есть желание уйти от всякого рода наемной, поденной работы, до чрезвычайности сильно развиты во всех классах служебного сословия. Были примеры и есть сейчас, когда адвокат бросает практику и идет пахать: и совесть его покойнее, да и жизнь независимее, а то живи и корми семейство кляздой!

Обыкновенно все попытки в таком роде пока оставались без особенно благоприятных результатов, но это происходило потому, что «единицам» не под силу поднять на свои плечи такое важное общественное дело.

Нам скажут: никто не запрещает жить трудами рук своих – иди на базар, нанимайся в работники, спи под забором, ешь серые щи, кто тебе мешает? Но именно эти-то ужасы, которыми обставлен труд, – ужасы, непосредственно происходящие от того, что непроизводительно сидящие на народной шее массы служебного пролетариата, существующие только при неурядице в народной жизни, доводят трудового человека до безвыходного состояния и выбрасывают его на толкучку голодного и холодного, – эти ужасы-то страшат, пугают людей, выросших не в народной среде. Если бы трудовая жизнь имела не такой ужасный вид, как теперь, поверьте, что все эти судебные пристава, становые и т. д. и т. д. охотно бы предпочли жить на свете в качестве самостоятельных хозяев и не показывали бы своей энергии при описи крестьянского имущества, необходимой им для того, чтобы обеспечить свои семейства и чтобы не пустить своих детей на толкучку продаваться в работники.

Школа, о которой я возмечтал, *должна устранить в общественном сознании весь ужас, соединенный теперь с представлением о трудовом существовании.* Она должна показать, что жить на свете, совмещая в себе слугу и хозяйина, прекрасно, благородно и не в пример чище заработка

помощью процентов с описываемого у мужиков имущества за долги купчишке Полумордову. Она должна показать, что трудовая жизнь – не подвиг вроде монашеского, не страдание, не искупление грехов, не серые щи, не дизентерия, не переломленная спина, а самая правильная, совестливая, независимая жизнь, дающая полный простор всем сторонам духовной деятельности человека.

Кавказское побережье имеет всевозможные удобства именно для открытия школ, в которых можно практиковать всевозможные роды труда: прекраснейшие долины между гор, чрезвычайно удобные для школ хлебопашества, то есть для того, чтобы выучиться этому труду не из-под палки и не из крайней нужды, а так же тихо, спокойно, как любая профессиональная школа выучивает какой-нибудь специальности своих питомцев. Здесь возможна культура табака, винограда и, следовательно, виноделие, садоводство; леса – это источник всяких кустарных промыслов из дерева. Есть железо, есть другие металлы. В лесах птицы, звери; в море – рыбы. Размышляя на эту тему, не трудно представить себе, как было бы хорошо, если бы наши города, земства, благотворительные заведения, морящие сирот и детей бедных родителей в клетушках своих мизерных приютов для того, чтобы, доведя их до малокровия, пустить потом беспомощными на все четыре стороны, наконец лица, расточающие массу денег на всевозможные не приносящие никому никакой существенной пользы пособия, – если бы все они, разобрав этот

берег по рукам, основали разнообразные школы возможного здесь труда, дав средства входить туда детям всех сословий, с тем чтобы, выучившись тому или другому роду труда, они прямо здесь же, на этом же побережье, садились на самостоятельные участки, которые и выкупали бы так же, как крестьяне выкупают свой надел.

Знание так уже дало много в помощь и облегчение человеку, изнемогающему под бременем труда, что в этих образчиках трудовых школ должно быть применено все, что отнимает у труда ужасные его черты – черты, пугающие непривычного человека и заставляющие его избрать какой-нибудь темный путь для обеспечения своего существования, вместо того чтобы жить так, как велит совесть, никогда не мирящаяся ни с какими темными делами, хотя и покоряющаяся необходимости делать их.

Устраняя каторжную сторону труда, школа, выпускающая своих питомцев прямо на землю и на труд, без сомнения должна давать и общее образование, причем в основание его «община», «артель», «товарищество» должны быть положены, как самое существенное *дело науки*. *Надо учить общинным идеям*, нужно доказать ту глубину правды, которая в этих идеях заключается, – словом, *школа должна взять всю сущность трудовой народной жизни и устранить от нее все те ужасы и недостатки, которые происходят от обременения народных масс паразитным существованием не трудящегося пролетариата*. Ведь все это необходимо нашему на-

роду. Если «опыт» такого рода не будет совершен на общественные средства, то когда же в дом к нашему крестьянину придут, наконец, облегчающие его труд знания? Неужели мы, имея такие удивительные образчики подлинно справедливой, здоровой, веселой жизни, которою живет (конечно, в счастливых случаях) наш народ, неужели мы, видя, как в европейской жизни измученный человек начинает выбиваться из тяготы существования к тем же самым формам жизни, никогда и ничего не извлечем практически важного для человека, общества, человечества и, мучаясь неправдой, будем продолжать смотреть на то, как неправда без всякой надобности разъедает здоровое народное тело и нашу уже нездоровую интеллигентную душу? Неужели наша русская мысль, имеющая такую огромную массу ежедневного материала в живой народной жизни, доказывающего ей, как дважды два, возможность *независимого* существования, не будет настолько оригинальна, настолько добросовестна, чтобы воспользоваться этим драгоценным образчиком независимой жизни, постоянно видимым нами, и не положить этого образчика в основание *воспитания* молодого поколения, то есть не сделает попытки ободрить непривычного к труду – для трудовой жизни?

3

На этом окончились мои умеренные фантазии и мечтания. На этом же оканчиваются и повествования обо всем случайном, об оригиналах, оригинальных биографиях, и, к сожалению, начинается повесть о том, что есть в действительности... Повесть эта так невесела, тягостна, что, признаюсь, мне очень-очень горько расставаться с фантазерами и как с своими, так и с чужими фантазиями. Но делать нечего, надобно расстаться и с тем и с другим: действительная жизнь так громко кричит о неправде и зле, что не слышать этого крика или успокаивать себя фантазиями – невозможно. Надобно говорить о том, о чем говорит действительность.

V. Человек, природа и бумага

1

«Действительность» прежде всего начала разрушать во мне как раз именно те веселые мечтания и фантазии, которые овладели мной после веселой встречи с переселенцами. На деле переселенческое движение далеко не поощряло к мечтаниям; все, что приходилось читать о нем, наводило на мрачные мысли и почти ничем не радовало.

Я не буду утомлять читателя пересказом этих невеселых мыслей и обращу внимание только на следующее соображение: всякий раз, когда дело идет о том же самом явлении, но не у нас, а за нашей «границей», и когда переселение именуется по-иностранному «эмиграцией», а переселенец называется «эмигрантом», для всех нас, даже для последнего волостного писаря, это народное движение делается совершенно понятным, ясным, имеющим совершенно определенный смысл и наводящим на мысль о самых реальных мероприятиях, которые это явление вызывает. Всякий знает, что эмигрант уходит от тесноты, что ему нужно переехать океан, что для этого нужен пароход, и притом дешевый, потому что эмигрант беден, что по прибытии на место, где эмигрант оказывается среди чужих людей, не зная ни языка, ни усло-

вий жизни, он нуждается в поддержке государства, в указании наилучших средств к устройству на новых местах. Слово «эмигрант» понятно для всех нас совершенно и возбуждает соображения вполне точные, определенные, вполне собственные «здравому уму» человеческому. Но как только слово «эмигрант» заменится в нашей мысли и сознании словом «переселенец», так тотчас же нас покидает способность руководствоваться здравым смыслом. Становой пристав ничего не может больше, придумать, как донести о своевольном уходе с места жительства, интеллигентный человек начинает раздирать свои ризы, рыдая о гибели народных масс, и даже коммерческий человек, тот, кто в Европе наживает деньги на перевозке, тысяч пассажиров-эмигрантов, на отдаче им в Америке участков земли, на чем он опять-таки наживает и чем растит свой капитал, – даже этот хищный глаз оказывается совершенно ослепшим, не видящим в этом движении ничего для себя существенного. Накупив сотни тысяч десятин от помещиков, он закладывает землю по трем закладным, лопается, мошенничает и только при всяких ухищрениях плутовства успевает перевести на женино имя какую-нибудь частицу наворованного капитала, тогда как по его же пустопорожней земле идут, как тени, полуголодные толпы людей, ищущих и жаждущих этой же самой земли, которые ее оплодотворили бы, оживили, от которой расцвели бы сами и дали бы возможность владельцу прожить на свете без помощи «скамьи подсудимых».

Вот пример «заграничной» переселенческой операции. Эмигрируют в Америку из нашей Екатеринославской губернии менониты²⁵, и раз они *эмигранты*, а не переселенцы, дело происходит самым понятным здравому человеческому рассудку образом. Нуждаясь в земле, они выбрали человек пять ходоков и отправили их не на Белые Воды, дорога куда почему-то полагается идущею через Москву и Вологду, а именно туда, куда следовало, – в Гамбург, где стоит эмигрантский пароход. Купец взял с них деньги и привез в Америку. В Нью-Йорке об участии наших менонитов позаботился муниципалитет. Тотчас по их приезде он приютил их в общественном здании, где они могли дожидаться частных предложений от продавцов земли, не разыскивая их ошупью через встречных и поперечных. И вот одно железнодорожное общество, желающее, чтоб его железная дорога возила людей и товар, а не гремела только пустыми вагонами, предложило им землю на условиях также доступных пониманию, если только находишься в здравом уме. Канзасская железная дорога отвела им несколько сот десятин земли близ самой линии дороги, по девяти акров на хозяйство и по 10 долларов за акр, с рассрочкой на 10 лет. Кроме того, железнодорожная компания обязалась выстроить им два поместительных дома, чтоб они не остались под открытым небом тотчас по

²⁵ *Менониты* – религиозная секта, возникшая в XVI в. В Россию менониты были приглашены при Екатерине II в 1789 году для заселения окраин и им были обещаны всяческие льготы.

приезде с семьями на чужую сторону. Тем же путем ходоки возвратились на родину, Христовым именем нигде не просили и, взяв семьи, благополучно доехали до новых мест, где действительно уже ожидали их два выстроенных дорогой поместительных дома. Так происходит «за границей» дело переселения, именуемое «по-заграничному» – эмиграцией. Та же самая эмиграция, именуемая на Руси *переселением*, происходит совершенно не так. *Выгода, материальная польза*, которую мы видим в деле «эмиграции», решительно отсутствует в нашем «переселенческом» деле; гамбургские корабли ждут переселенцев, потому что это выгодно; нью-йоркский муниципалитет, также из-за выгоды не имеет в городе массу бесприютного народа, устраивает им даровые помещения; железнодорожные компании, также единственно из желания иметь пассажиров и товары, уступают переселенцам земли и облегчают возможность поселения. Все здесь один голый расчет, основанный, однакоже, на удовлетворении известных надобностей человека.

В ходе же нашего переселенческого дела и устройства народных масс, ищущих земли и труда, как раз и не видно даже этого простого и ясного расчета, понимания простой выгоды того, что постановка этого дела на практическую почву общественной пользы есть именно то, что во всяком случае необходимо сделать без отлагательства. В настоящее время уже есть всякого рода «мероприятия»; но кто же не знает, что переселенец продолжает и сейчас плутать без пути и до-

роги? И в то же время нет в России человека, который бы не понимал, что дело это серьезное, важное... Нигде так не скорбят о народе, об его расстройстве, как именно у нас; нигде его не боготворят так, как у нас же, и нигде не мечтают об его благе с таким подлинным бескорыстием, как опять же именно у нас. «Народ», «народное благо» и «благоустройство» не сходят с нашего языка целые десятки лет, и бесчисленные «проекты» всякого рода патриотов, имеющих доступ туда, где эти проекты принимаются, ничего иного не трактуют, как все то же самое народное благо. Сколько у нас суеты, скорби, переписки, и всё о том же народном благе – этого невозможно ни описать, ни пересказать и все-таки никакого реального, практического дела из всех этих скорбей о народе не выходит: общество продолжает скорбеть, проекты продолжают писаться, мероприятия принимаются, а все-таки никто не может по совести сказать, чтобы все это было даже похоже на действительное дело. Чего-то маленького, но самого главного нехватает во всех этих скорбях и беспокойствах о народе, чтобы они преобразились в действительную заботливость об устройении народных масс... Нет спички, чтобы зажечь лучину и поставить самовар, – а то решительно все есть для того, чтобы хорошо «попить чайку»: и самовар полон воды и вычищен так, что горит как жар, и уголь в тьме в корзине рядом с самоваром, и чай уже положен в чайник, и сахар есть... Все есть, нет только спички для того, чтобы зажечь лучину и оживить весь этот самоварный мате-

риал... И для народного дела все у нас есть в полном размере: есть и нужда в земле, есть и бесконечные свободные пространства земли, есть и истинная скорбь о народе и истинное желание сделать добро... А вот спички-то, которая нужна для оживотворения всего этого материала жизни, действительно живого дела, ее-то и нет...

Никогда бы я не решился говорить о таких скучных и тягостных особенностях русской жизни и томить ими читателя, если бы мне совершенно случайно не пришлось встретиться с одним из старых моих приятелей, который в разговоре об этих же скучнейших вопросах не только сумел вывести их из области присущей им скуки и тоски, но, к удивлению моему, нашел возможность толковать о них в самом юмористическом тоне. Благодаря только этой счастливой случайности я и решаюсь еще раз коснуться того же темного дела, не впадая, однако, в заунывный тон.

2

– Так ты желаешь знать, – говорит мой приятель, – почему вот этой самой спички-то нет?

– Да. Отчего нет этой спички?

– По-твоему выходит, что у нас есть все, чтобы чаю попить «вволю», то есть чтобы добро вышло? И самовар, и вода в нем, и уголья, и чай, и сахар, да спички-то нет, и чаю поэтому напиться нельзя?

– Совершенно верно! А ты разве иначе думаешь?

– Нет, и я так же полагаю... Я только для верности переспрашиваю, о том ли я думаю, о чем ты-то говоришь. Вижу, что о том, и вот что я надумал об этой самой спичке.

Приятель мой крепко понюхал табаку, помолчал, сообразил что-то и сказал:

– Тебе ведь известно, что я иной раз пописываю кое-что?

Мне это было известно: не раз через меня в редакцию передавались *начала* его больших трудов и через меня же ему возвращались. Обыкновенно передавалась только *первая глава* обширного труда, а содержание остальных шестидесяти девяти глав излагалась в виде конспекта, в конце которого автор обыкновенно сообщал редакции, что за обработку этих шестидесяти девяти глав он примется не иначе, как по одобрении редакцией идеи его труда, изложенной в программе. Так как редакция этой программы обыкновенно

не имела времени просмотреть, то на первой главе надписывала роковое «возвратить», и шестьдесят девять глав никогда оканчиваемы не были, а вместо них, чрез год или два, являлась новая первая глава нового обширного труда.

– Как же мне не знать? – ответил я приятелю. – Очень знаю!

– Так вот я года полтора тому назад и задумал написать о России и о русском народе... нечто обширное... Обнять, так сказать, задумал я всю массу разнообразнейших особенностей русского быта... Затрудняло меня только заглавие – слишком уж много содержания надобно было включить в него. Но, наконец, думаю себе, если я окрещу мое творение, назвав его «Русский человек и русская природа», то на расстоянии этих двух точек может уместиться и все прочее разнообразие явлений жизни, всегда прикосновенных и к одной точке и к другой... И в европейской литературе также названия подобного рода трудов часто исчерпываются только этими двумя словами: «Природа и человек» или «Отношения человека к природе». Ну, словом, в этом роде. Не знаю, так ли, нет ли, но я все-таки взял перо и начертал: «Человек и природа» – конечно, русские – и принялся за дело... Но как тебе покажется? Вижу, чувствую, что есть в общей картине нашей жизни нечто такое, что иной раз совершенно нарушает всякие законы природы и совершенно неожиданно ставит человека в невозможное положение. Есть нечто такое, что, вторгнувшись между человеком и природой, произведе-

дет необыкновенную путаницу и там и там, и главное, когда действие этого неожиданно вторгнувшегося таинственного элемента прекратится, не оказывается никакой возможности понять, во имя каких целей произошло это вторжение. Думал, думал я, потел, потел, наконец вижу... Нет! Нельзя мне именовать свое сочинение только двумя словами: «Человек и природа», а надобно прибавить к ним и третье, самое важное, и тогда определение моей задачи будет полное...

– Как же ты придумал?

– А придумал я так: «Человек, природа и... бумага» – да, вот подлинное указание на самую существенную, исходную точку всех тайн нашей жизни.

– Откопал же ты штуку, нечего сказать!

– И откопал! Действительно, добрался до самой сути... *Бумага!* – вот это и есть самый центр!

– По-твоему, – прервал я его, – бумага-то и есть центр зла? По-твоему, значит, мы духовно мертвы только потому, что смерть и тлен в нашу совесть вносит бумага? Да можешь ли ты это даже думать?

– Напротив! Никогда ничего подобного мне и в голову не приходило. Чтобы бумага наша когда-нибудь вокруг себя рассеивала зло? Никогда! Я положительно утверждаю, что эта могущественная сила постоянно блистала полным отсутствием даже самой тени каких-нибудь злоумышленных целей. Напротив, в ней всегда писалось, чтобы люди жили «как лучше», она постоянно *предусматривала* всевозмож-

ные случайности нашей ничтожной обывательской жизни и предостерегала от них. Еще на днях я читал приказ по полиции – не опускать у магазинов маркизы ниже трех с половиною аршин, потому что третьего дня один прохожий, задумавшись, повредил себе лоб, то есть стукнулся о раму маркизы... Извозчики, прежде нежели вылезти из саней и потоптаться на тротуаре, чтобы согреться, должны узнать у городского, сколько градусов мороза! При десяти градусах они не могут вылезти из саней и, следовательно, не могут «погреться», и только на одиннадцатом им разрешено начать греться какими угодно способами. Когда же до «сведения дошло», что городовые начинают брать с извозчиков взятки за прибавку градусов, и когда сам господин пристав собственными ушами слышал, как городской Семенов сказал извозчику: «Ну, пес с тобой, неси сороковку! Накину я тебе, дураку, градуса, пожалуй, на два!» – то тотчас же явился циркуляр, разоблачающий все эти злоупотребления, отрешающий виновных от должностей и прочее... Словом, всякая в буквальном смысле бумага стремится совершить только добро и только печется о человеке...

– Ну, стало быть, виноват кто-то другой, а не бумага. Зло, стало быть, вовсе не в ней. Она добро?..

– Да!

– И из нее выходит, однакоже, зло?

– На это я тебе скажу вот что... Я тебе изображу нечто беллетристическое... Так будет яснее... Представь себе, что

ты или я был как-нибудь на днях на концерте, театре или клубе... и случайно познакомился с очень хорошенькою вдовушкой или девушкой...

– Представил.

– Хорошо! Представь теперь еще и то, что она мне очень и очень понравилась...

– А ты ей?

– И я ей также, само собой, понравился. Дальше – больше, у меня возникает мысль написать ей письмо... «Нельзя ли, мол, видеть вас потому-то и потому-то? Необходимо поговорить о том-то, и позвольте, мол, мне прийти, или вы ко мне приходите... Адрес там-то...» и так далее... Написал я это письмо, положил в конверт, наклеил марку – в ящик. На письмо приходит ответ: «Я согласна... в таком-то часу... Мне самой надо было с вами поговорить». Я иду, мы видимся, говорим, и затем дело идет так, как покажут обстоятельства: разойтись придется – разойдемся; жениться – женимся. Словом, как вообще идут такого рода дела... Худо ли, хорошо ли, а ответ за все только на нас двоих – не правда ли?

– Совершенно верно!

– Теперь представь себе, что в такие-то наши отношения вмешалась «бумага». Она ведь все предусматривает и постоянно стремится, чтоб *все было по-хорошему*. Да? Конечно, да! И вот она предусмотрела, что молодые мужчины, познакомившись где-нибудь с молодыми женщинами, обыкновенно продолжают знакомство письмами, причем «усмот-

рено», что письма эти сначала всегда вызывают на необходимость какого-то *якобы* серьезного разговора («нет ли у вас «Исповеди» Толстого?»), но что в сущности этими *якобы* серьезными мотивами прикрываются совершенно не те побуждения и что «управлению» известно множество примеров, когда, начав с необходимости «о многом говорить», молодые люди вовлекали девиц в величайшие несчастья, причиняли расстройствa в семьях, бывали причиной преждевременных смертей. С другой стороны, «управлению» также известно, что и девицы, начав знакомство с молодыми людьми под неопределенным предлогом узнать от них: «где исход?», – побуждали их к законному браку и впоследствии не только не оказывались «подругами жизни», но, напротив, вынуждали расхищать земские сундуки и предавались расточительной жизни, доводя в конце концов мужей своих до скамьи подсудимых... Так вот, принимая все эти случаи во внимание и желая оградить обывателей от сетей и обманов недобросовестных личностей мужского и женского пола, а также ввиду «предотвращения» самоубийств, расхищений, растрат и других преступлений, «управление» находит нужным обязать молодых людей, переписывающихся между собою, – *во избежание могущих произойти неблагоприятных последствий* – представлять любовные письма в канцелярию управления, которое, проверив положение пишущего, не иначе препроводит письмо по назначению, как тщательно проверив показания переписывающихся: не же-

нат ли мужчина? какое серьезное дело он хочет объяснить? не расточительница ли скрывается под словами неопределенной фразы «где исход?», имеются ли достаточные средства к жизни? Управление возьмет твое письмо, проверит, вызовет свидетелей и, убедившись, что ты хочешь в самом деле говорить серьезно, препроводит твое письмо чрез околоточного к Марье Андреевне под ее расписку. Письмо же Марьи Андреевны точно таким же порядком будет расследовано в том же управлении, причем и сама Марья Андреевна и прислуга будут спрошены самым деликатным образом. И по проверке всего этого, ежели ничего подозрительного не окажется, она получит твое письмо, а ты ее – точь-в-точь как бы по почте. В случае же Марья Андреевна, которая в письме просит «Исповедь», на допрос в управлении явится надушенная и расфранченная, управление, в предупреждение могущих произойти неблагоприятных для тебя последствий, не выдаст ей твоего послания и ее послания не передаст тебе и таким образом предохранит вас обоих от расхищения земского сундука. Ну скажи, пожалуйста, разве все это делается с худыми целями? Не к твоему ли благу все это предпринимается и не для твоего ли благополучия управление предусмотрело тысячи несчастных случайностей? Наконец, ведь письмо твое дошло, только Марья Андреевна получила его «при бумаге» и только после расписки. Что ж, разве трудно расписаться – «Марья Колпакова», и разве обидна бумага, в которой только и сказано, что: «прилагая при сем любовное

письмо служащего на Ряжско-Вяземской дороге сына дворянина Андреянова, имею честь предупредить ваше благородие, что, в случае вовлечения молодого человека в земскую растрату, вы имеете подвергнуться всей строгости закона»? Это ведь простая формальность – и даже не написано, а напечатано, хоть и не читай. А подумай-ка хорошенько, сколько эта бумага и формальность умертвили твоей собственной души. Ведь, во-первых, ты и Марья Андреевна будете думать не друг о друге в ожидании, положим, вызова в управление, а уж об управлении, *как там решат*. Не будь этой бумаги, ты в ожидании свидания, может быть, до мелочей анализировал бы *свою* жизнь, все прошлое и старался бы проникнуть в будущее, а тут ты анализировать будешь все то же управление: как оно на тебя посмотрит? как оно посмотрит на Марию Андреевну? Тут между вами, между вашими личными отношениями, вошло что-то постороннее, вошло с заботой, с предостережением, с усмотрением; но вашему-то личному чувству надобно уж молчать и ждать, а вашему исполненному приятных мечтаний воображению надобно уже проникать во что-то чужое вам, и, разумеется, от этого вмешательства бумаги в ваши личные желания и дела только меркнет и гаснет ваше чувство и тупеет ум... Именно вот это-то притупление чувства и ума я и замечаю во всем современном русском обществе, а дел... хлопот... изнурения... видимо-невидимо! И всё – «впустую», потому что мы отвыкли даже желать своего, а всё ждем, что заставит нас желать бумага...

– Но ведь то, что ты сейчас говорил, небылица, больше ничего! – возразил я приятелю.

– Конечно, небылица, но я и былей мог бы тебе сказать столько, что ты только бы развел руками.

– Ну, рассказывай!

Приятель мой сдержал свое слово. В одну из наших встреч он с документом в руках весьма основательно подтвердил сделанную им характеристику значения той силы, которую он именовал «бумагой». Пользуясь этими документами моего приятеля, я постараюсь вкратце познакомить с ними читателей в моем собственном пересказе.

3

Один из этих документов, рисующий «человека» и «природу» без участия третьего, главнейшего элемента нашей жизни, заимствован из первого тома литературных прибавлений к газете «Восточное обозрение». В прекрасной, живо написанной статье г-н Ядринцев²⁶ рассказывает о своих путевых впечатлениях среди русских раскольнических общин, устроившихся каким-то чудом и процветающих на самой дальней границе России с Китаем. Эти раскольнические общины были, как клад, зарытый в землю, *открыты* при императрице Екатерине около границ Китая в Алтайских горах, куда тогда еще не проникала бумага. Они жили совершенно независимо и образовались ранее прошлого столетия из беглецов и раскольников, искавших убежища в горах и лесах. До 1878 года они не несли воинской повинности, и вот в каком виде нашел их г-н Ядринцев во время своей поездки на Алтай.

Прежде всего оказывается, что наши великороссийские черноземные мужики превратились в совершеннейших горцев, весьма удобно приладившись к условиям горной мест-

²⁶ *Статья г-на Ядринцева* – Н. Ядринцев. Раскольничьи общины на границе Китая. Земледелец-диоломат и воин. Происхождение раскольничьих общин. – Сибирский сборник. Научно-литературное периодическое издание под ред. Н. М. Ядринцева. Приложение к «Восточному обозрению», кн. I, СПб., 1886.

ности. Кстати сказать, Алтайские горы – горы *в самом деле*, настоящие. Вот как описывает г-н Ядринцев эту местность: «Когда мы приближались к вершинам Бухтармы, горы становились все выше, хребты поднимались пирамидально из долины, река неслась иногда в ущелье, в каменистых берегах, бушевала, пенилась. Возле Черновой открылись бухтарминские пороги; вода *кипела* в них. Кругом дикие горы и ущелья, поросшие лесом. Нарымский хребет был особенно величествен». И далее, за станцией Черновой «горы еще величественней, на склонах были леса, а вершины были каменисты, выступая гребнями и сопками. На величайшей вершине лежала, как говорили крестьяне, *зацепившись за белок*, темная туча»... Словом, природа, как видите, вовсе не «крестьянская», и, однакож, крестьяне единственно только под давлением нравственного побуждения *жить в мире* сумели не только не погибнуть в непривычной для них обстановке, но, как увидим ниже, устроились самым завидным образом.

В непривычной для мужика обстановке, кроме совершенно диковинной для него природы, не последнюю роль играла и «чужая сторона» с чужими враждебными соседями, китайцами, киргизами, с которыми у пришлецов должно было быть множество столкновений, обыкновенно переходящих в такого рода пограничные затруднения, которые разрешаются вмешательством правительственных войск. Однако вот оказывается, что «все здесь тихо и мирно: и к китайцам в гости ездят, и халаты приобретают, да и рыбой давно поль-

зуются, ходя артелями за границу без всяких паспортов и трактатов». «В этой способности ориентироваться (в чужой земле) и, заняв места, отстоять их – заключались немалые таланты и сказалась не одна сила, но и ум» (стр. 25). «Он (пришлец-крестьянин), являясь (в чужое место и среди чужих людей), показывал свою силу, свое право, энергию, настойчивость, но потом вступал в дружественный договор», так как, повторяем, ему нужен был только безусловно один мир (стр. 24).

Таким образом, исключительно своим умом, умением и исключительно только при помощи самого простого человеческого побуждения «жить» на белом свете, и притом жить в «мире», крестьяне, поселившиеся в Алтайских горах, представляют собою в высшей степени замечательное явление; они, по словам г-на Ядринцева, сформировались в могучую, богатырскую расу. «Население это крупное, рослое, атлетического телосложения; один известный нам охотник-крестьянин напоминает просто богатыря». Казачий офицер, сам здоровый и коренастый мужчина, передавая г-ну Ядринцеву свое впечатление от рукопожатия этого колосса, говорил, что «его собственная рука показалась ему рукою ребенка, когда колосс пожал ее».

Не только мужчины, могучи и сильны здесь также и женщины: «В Алтае, – пишет г-н Ядринцев, – мы видели девицу – аршин в плечах, поднимавшую 12 пудов» (стр. 46). «Однажды, подъезжая к деревне, я увидел, – говорит г-н Ядрин-

цев, – двух приближавшихся всадников в ярких костюмах, точно французских гусар. На голове у одного была красная шапка с позументом. «Кто это скачет?» – спросил я у ямщика. «Да это наши бабы!» В другой раз я рано утром пил чай в деревне. Это было часов в шесть утра. По всей улице стояли у ворот привязанные верховые лошади. Через несколько времени начали выходить из ворот старухи и бабы с ребятами; они смело влезали на лошадей верхом по-мужски, прилаживали на седле малолетков и отправлялись из деревни. Я заметил, что у каждой старухи через плечо был холщовый мешок. «Куда это у вас старухи собрались, не в поход ли?» – спросил я хозяйку. «Зачем в поход! Молодые-то теперь на работе, а старухи на пчельники поехали, да и ребяток с собой захватили». – «Зачем же верхом?» – «А разве в наших местах иначе проедешь? Горищи – страсть, крутизна! А ничего, мы привыкли!»

Правда, у этих богатырских женщин и девиц иной раз случаются некоторые ошибки против «правил благопристойности»; г-н Ядринцев сообщает, что «у них будто бы существует свобода любви и короткие связи называются просто «птичьим грехом», что девице не ставится в грех, если она до замужества жила с кем-нибудь, но по выходе замуж она обязывается быть верною своему мужу». Но такие ли грехи творят, например, кавказские горцы, которые, как сванеты, истребляют новорожденных детей, особенно девочек, засыпая им рот горячею золой, или осетины, стискивая дере-

вянным корсетом грудь девушки с детских лет и не давая ей развиться как органу кормления детей? Это уж грех не птичий, а человеческий, и называется он детоубийством, совершаемым к тому же с своекорыстными целями: иметь как можно меньше детей, чтобы женщина могла больше работать на своего господина. Алтайские же греховодницы по выходе замуж беспрепятственно увеличивают народонаселение, так что, например, в Кумышском округе в течение столетия из *10 семей* таких же греховодников-богатырей население разрослось *до 1260* душ народа, как уже сказано выше, росло-го, могучего, работающего, вполне к тому же сохранившего свои симпатии к крестьянству. «Некоторые из крестьян в деревнях по Бухтарме сеяли хлеб на высоте 4000 футов. Сено косили в таких ущельях, что его приходилось вывозить верхом, связывая в охапки». Хлебопашество в некоторых горных деревнях идет в настоящее время так хорошо, что крестьяне имеют возможность выгодно сбывать излишек: 4000 пудов ржаной муки они поставляют в зырянский заводский магазин. Кроме хлебопашества, они занимаются скотоводством, пчеловодством, ведут меновую торговлю с киргизами, китайцами, давая в обмен юфть, топоры, звероловные капканы, ножи и другие железные вещи, а также соль, муку и особенно зерновой ячмень.

Общее впечатление, вынесенное г-ном Ядринцевым из его поездки по Алтаю, по горным крестьянским деревням, оказалось самым светлым и ободряющим: *«можно жить на*

белом свете» – вот какими словами можно бы выразить сущность всего, что рассказал нам г-н Ядринцев.

Посмотрим теперь, что выходит, когда между человеком и природой появляется «содействие» самой гуманнейшей бу-маги, предусматривающей всевозможные вопросы колонизации, тщательно их предупреждающей и вообще пекущейся совершенно бескорыстно и безукоризненно о благосостоянии «человека». Материалом для ознакомления читателя с опытом колонизации этого последнего рода послужит нам статья г-на Шаврова²⁷, напечатанная в «Северном вестнике» (1886 г., № 7), в которой г-н Шавров подробно рассказывает, как приводились в исполнение, например, всевозможные проекты, изобретавшиеся для колонизации еще и ныне довольно пустынного черноморского побережья. Начало этим проектам и мероприятиям относится ни много ни мало, как к 1804 году, когда черноморское побережье было присоединено к владениям России и когда впервые было понято государственное значение этого побережья.

Это «государственное значение» черноморского побережья сделалось понятным для государства и поддерживалось с 1804 года тогдашним начальником края князем Цициановым. С тех пор и до настоящего времени все замечательные деятели, управлявшие Кавказом, единодушно признавали, что, очистив побережье от непокорных горцев, с которыми

²⁷ *Статья г-на Шаврова* – Н. Шавров. Проекты колонизации восточного берега Черного моря. – «Северный вестник», 1886, VII.

пришлось вести тяжкую и дорого стоящую войну в течение шестидесяти лет, Россия, во избежание повторения того же самого, нуждается в колонизации очищенных горцами земель преимущественно «русским элементом».

Так вот с 1804 года и до настоящего времени с неусыпной энергией все замечательные деятели Кавказа единодушно напрягают все силы, чтобы водворить на Кавказе русский элемент. Этот элемент и сам бы, вероятно, явился сюда в значительном количестве, потому что ему надо пить-есть и жить мирно; но для задач «бумаги» такой цели, как «пить-есть», слишком мало.

Прежде всех начал оперировать над «элементом» генерал Раевский. Он «задумал широкий план – обратить береговые укрепления в торговые пункты и водворить при них русские поселения, которые, производя постоянный торговый обмен с горцами, содействовали бы сближению последних с русскими и сделали бы ненужными постоянные военные действия» (стр. 22). С этой целью (заметьте: с целью *торговли!*) генерал Раевский испросил разрешение пересылать на казенный счет семейства *солдат* для образования поселений и, «несмотря на все затруднения, успел-таки поселить 1520 русских семейств».

Итак, *солдаты*, ввиду государственной важности, должны были превратиться в *купцов* и не маршировать, а *торговать*. Но этого мало. «Кроме торговли с горцами», генерал Раевский успел «обратить деятельность поселенцев на *рыболов-*

ство и каботажное плавание, с целью создать на черноморском побережье *морское население*» (стр. 22). Преемник его, генерал Анреп, хотел все это уничтожить, но не успел, потому что передал власть генералу Серебрякову, продолжавшему дело Раевского до Крымской войны, которая все это прекратила, и «элемент», превращенный из мужиков в солдат, из солдат в купцов, в садоводов, в рыболовов, в мореплавателей, разбежался неведомо куда, и берег опять опустел. «Усилия, – говорит г-н Шавров, – этих генералов оказались бесполезными для России»; а каково было «элементу» кряхтеть – об этом ничего не сказано...

В 1864 году черноморское побережье было окончательно покорено, горцы все ушли сами, перетонули в море, перемерли от холода и голода. Причиной этого бегства были меры генерала Евдокимова, который стал переселять горцев в долины, а казаков в горы. Вследствие бегства горцев побережье совершенно «обезлюдено» (стр. 25), и опять надобно было взять за бока все тот же «элемент».

«При составлении *первого* (первого после уже «бывшего» другого *первого*, который, как мы видели, оказался бесполезным) проекта колонизации черноморского побережья приняты были в основание *самые рациональные исторические, практические и государственные соображения* о значении, которое имела эта пограничная область в общей системе Кавказского края. Кроме того, *не было забыто* и общее государственное значение восточного берега в развитии рус-

ского могущества на Черном море». Ввиду всех этих соображений «предполагалось в наиболее удобных морских пунктах образовать приморские станицы из азовских казаков с прибавлением к ним посторонних лиц из казаков, отставных солдат и вольных людей...»

Все эти люди, превращаясь просто в «русский элемент», *«предназначались чтобы служить началом будущих коммерческих портовых городов, а потому всю деятельность новых поселенцев предполагалось направить на рыболовство, судостроение и каботажное плавание... Затем вдали от берега предполагалось поселить несколько казачьих поселений для обороны на случай войны»* (стр. 28). Так как время тогда было военное, то заселение побережья казацкими станицами началось *немедленно*, и для начала было поселено около 15 станиц; но затем все это было *приостановлено* вследствие того, что к военным соображениям постепенно примешались соображения гражданские: *вдруг... всем показалось* следующее: «Казак в полном вооружении, конный или пеший, но обязанный нести постоянную военную службу, *стал казаться самым непригодным* поселенцем для богатейшей по своей производительности страны, которая требовала интенсивной земледельческой культуры и таких знаний в сельском хозяйстве, которые недоступны для служилого казака. Самое его военное звание казалось большим препятствием к правильному ведению сельского хозяйства. Немало приведено было доказательств, что для казака невозможно ве-

сти успешно интенсивное хозяйство, заниматься культурою винограда, виноделием, разведением ценных растений. Словом, казак был признан непригодным для *быстрого* экономического преуспеяния края, и дальнейшее устройство казачьих станиц было приостановлено» (стр. 29).

Вот каков был этот проект.

Как видит читатель, на шею «русского элемента», желающего только всего «пить-есть и жить в мире», проект, принимавший во внимание политические, государственные, исторические, экономические соображения, возлагал оборону, культуру, интенсивное хозяйство, развитие морского могущества, садоводство, виноделие, рыболовство, земледелие. Все сие должен был совершить «элемент», собранный из азовских казаков, отставных солдат и вольных людей. Такова была задача военного управления. Когда же все эти станицы разбежались, и «элемент» рассеялся «кто куда», «не пимши и не емши», тогда началась деятельность гражданская.

Задача гражданского управления была такова. В трех пунктах побережья учреждены были попечительства, «на обязанность которых было *возложено* попечение об успешной колонизации побережья, о привлечении сюда иностранных колонистов и введении при помощи их высшей земледельческой культуры и интенсивного сельского хозяйства в оставшихся (пустыми, конечно) казачьих станицах и во вновь *имеющих поселиться русских колониях*... Обратите внимание на коренное свойство «бумаги»: никаких русских

колоний нет, не существует, а уж обязанность введения в *них*, в тех самых, которых и в помине-то нет, введения интенсивного хозяйства уже *возложена* на кого-то, и кто-то эту обязанность смело решается взять на себя, кто-то уже говорит: «водворю!» и требует оклада жалованья. Приняв эту обязанность, попечители *возложили* ее в свою очередь на колонистов, но в конце концов «колонизация не могла идти успешно, и многие из колонистов, ввиду смертности товарищей и собственной болезненности, теряли бодрость и просили о перемещении их в другие места или об отправлении их на родину» (стр. 31). Эта смертность и болезненность произошли, во-первых, от того, что «*подробной съемки черноморского побережья сделано не было*» (стр. 29), что *энергическое* стремление водворить как можно больше колоний вызывало *случайное* их расположение – в таких местах, где, *по мнению попечителей*, встречались *более удобные* места для колоний». Переселенцы же, «явившись из северных провинций», не могли соблюдать гигиенических предосторожностей, потому что, устраиваясь (*по мнению попечителей*, более удобно) в диких лесах и болотистых долинах, были предоставлены единственно только собственным своим силам (стр. 30). «Правительство не жалело средств для помощи колонистам, но пособия были определены по одной общей норме для всех лиц, желающих водвориться на всем побережье». Кроме того, при отсутствии путей сообщения (это также оказалось неожиданно) доставлять провиант поселен-

цам было нелегко, сохранять его на открытом берегу было еще труднее, и потому естественно, что переселенцы терпели немало лишений и подвергались болезненности, несмотря на энергические заботы. В конце концов *выяснилось*, что «без устройства путей сообщения колонии, разбросанные по горам, ущельям и долинам, не могут развиваться и достигнуть благосостояния» (стр. 31). Таким образом окончился еще один период «энергической деятельности»; но тотчас же, «без передышки», начался новый, то есть снова-здорово взялись с новою энергией за то же самое дело.

Так как оказалось, что без путей сообщения жить нельзя и что водворение интенсивного сельского хозяйства и высшей земледельческой культуры немыслимо без затраты на то и другое (на дороги и культуру) огромных капиталов, то гражданское ведомство и стало «изыскивать средства», и с 1871 года «правительством были приняты *всевозможные меры*, указываемые экономической наукой, для *быстрой* и успешной колонизации».

В помощь к водворению земледельческих колоний (которые все, к сожалению, *уже* разбежались неизвестно куда) административным путем *создана* была на черноморском побережье *крупная земельная собственность*. Привлечены капиталы и капиталисты для культуры этой богатейшей нашей окраины (стр. 32).

Кстати здесь сказать, что мысль о *создании* на Кавказе крупной собственности явилась гораздо ранее 1871 года,

именно тотчас же после того, как ушли горцы, и побережье опустело. Тотчас же «признано было справедливым выделить некоторую часть опустевшей земли в вознаграждение *славных участников покорения Кавказа*» (стр. 31). Ввиду этих соображений в руки участников покорения Кавказа (из лиц военного и гражданского ведомств) перешло следующее количество земель: 1) передано в военное ведомство для раздачи по по жалованьям – 23 000 дес.; 2) передано в распоряжение закавказской лотереи с благотворительной целью – 2000 дес.; 3) пожаловано разным лицам 26 264 дес. и 4) отведено разным лицам, на основании устава о горном и сельском хозяйстве, 6784 дес.

Все сие, оказывается, было сделано еще до возложения на «русский элемент» исторических, политических, мореходных, оборонительных, рыболовных, виноградных, хозяйственных, торговых, каботажных, культурных и всяких интенсивных обязанностей. Когда же «элемент» разбежался, «не пимши и не емши», тогда, повторяю, тотчас же была *создана* крупная поземельная собственность. Начало ее, как мы видели, было довольно прочно положено еще до появления «элемента», теперь было продолжение: в начале 1871 года опубликованы были правила для продажи земель. Московские капиталисты воспользовались этим и приобрели более 50 000 дес. земли по 10 р. за десятину, с уплатою в течение 10 лет, по 1 р. в год. Впрочем, еще ранее этого времени в Москве родилась мысль об образовании товарище-

ства с целью приобретать на Кавказе земли. Первое товарищество ходатайствовало о продаже ему земель в долине Эльдар; но барон Николаи, начальник главного управления, отклонил это ходатайство на том основании, что «предполагалось отдать барону Таубе 600 000 дес. земли даром – с обязательством образовать общество для ирригации долины». Вообще, как видно, капитал не дремал, спешил содействовать процветанию покоренного края задолго до «мер, указываемых экономической наукой» и бывших причиной появления правил 1871 года. Но, к сожалению, опять явились препятствия к осуществлению указаний экономической науки, именно: «незнание *местных условий*, отсутствие морских и сухопутных сообщений и неопределенность положения новых землевладельцев, не имевших понятия, где *будут* (!) города и где *проложатся пути сообщения*». Кроме того, «точной съемки, точных границ купленных участков» сделано не было. Вследствие этого большинство участков, купленных на основании правил 1871 года, *до сих пор* еще не отмежеваны в натуре, а потому нет ничего удивительного, что капиталисты не решаются затрачивать капитал (стр. 33). «В силу всех вышеприведенных затруднений, – говорит г-н Шавров, – несмотря на все усилия (!!) гражданского ведомства, все земледельческое население Черноморского округа составляет не более 11 1/2 тыс. душ, в числе которых 8 тыс. казаков, поселенных военным ведомством».

В 1880 году великий князь Михаил Николаевич пору-

чил генералу Старосельскому отправиться в Черноморский округ, «ознакомиться ближайшим образом с состоянием его *во всех частях* его устройства, причем выяснить причины, препятствовавшие успешному осуществлению тех целей, к которым правительство с немаловажными материальными пожертвованиями доселе стремилось».

16 октября 1880 года дан был этот приказ, а 14 мая 1881 года генерал Старосельский, *ознакомившись с делом во всех частях* и выяснив *все причины*, представил свой доклад. Что было в этом докладе, осталось, к сожалению, неизвестным, потому что «в это время» произошло упразднение самого наместничества «и преобразование *всего* административного *строения...*» Таким образом, в конце всех этих *усилий* на всем огромном побережье еле-еле водворено 3 1/2 тысячи поселенцев самого разношерстного сорта, разноплеменного, разноязычного, и в то же время не осталось *ни одной пяди свободной земли*.

– Как? – воскликнул я в недоумении, когда мой приятель произнес слова, написанные в последних строках. – Никто еще на побережье не живет, а земли уж нет?

Приятель мой развел руками, вздохнул и сказал:

– Увы, все это именно так и есть! Никто еще на побережье не живет, а земли свободной нет ни одной пяди...

– Да неужели же это правда?

– Чтобы ты убедился, что я не лгу, – вот тебе и еще очень солидный документ: процесс некоего мещанина Дан-

кова. Прочти его и вразумись.

Вот этот замечательный процесс.

«Господа присяжные заседатели! Обратите ваше внимание, что я заключен в тюремный замок, где и нахожусь уже более четырнадцати месяцев, а жена и дети мои, будучи без моей единственной помощи, доведены до неслыханного крайнего разорения. В настоящее время уже наступила холодная зима, а у жены моей и детей моих малолетних, от семи и до двенадцатилетнего возраста, не осталось ни одежды, ни обуви, ни теплой квартиры и даже необходимой постели; все, что было необходимое, последовало в залог заимодавцу-еврею по десяти процентов на рубль в месяц с рекамбиями²⁸, да и у меня уже не осталось ни обуви, ни одежды, кроме арестантской. Это злосчастное испытание я с моим семейством выношу незаслуженно, выше всякого *современного христианского терпения!*»

Вот как плакался перед господами присяжными заседателями 29 ноября 1883 года некто мещанин Иван Васильев Данков, преданный суду курского окружного суда. Он уже не молод, ему 54 года; маленькие глаза его слезятся от долгого тюремного заключения, и на лице лежит печать страдания и усталости. «Говорит он, – по словам хроникера, – с полным сознанием своей правоты, но волнуется и иногда до того, что

²⁸ *Рекамбия* – начисление процентов на проценты при досрочном платеже по обязательствам.

нюхает нашатырный спирт из простого пузырька».

В чем же провинился и за что потерпел бедный мещанин? «Лишь за то только (мы цитируем по его собственному показанию), что взял на себя труд помочь до крайности обедневшим крестьянам, по малоземельному наделу при дурных урожаях и поднятию цены арендной платы до 30 рублей за десятину под озимый посев, а заработная поденная плата от многолюдства бедных – не свыше 20 коп. на своем содержании, что недостаточно и одного работника прокормить, не только семейство».

Так вот какие цели имел мещанин Данков, но так как он желал осуществить их на основании тех «попечительных» слов, которыми искони блещет «бумага», всегда стремящаяся сделать «как лучше», то и оказалось, что вместо помощи «обедневшим» крестьянам, он очутился на скамье подсудимых, предварительно просидев в остроге 14 месяцев.

Первая «бумага», которой поверил Данков, была бумага газетная – именно № 2123 «Нового времени», в котором была напечатана статья о раздаче желающим земель в Черноморском округе. Вот в каком виде нашли мы в бумагах Данкова этот газетный лист: сложенный в три раза в длину и перегнутый потом пополам, он весь пропитан каким-то желтым составом, точно маслом, и как бы истлел. Оказывается, что этим составом, похожим на масло, пропитала газетный лист собственная грудь Данкова. Он и сложил-то его таким образом, как описано выше, для того, чтобы удобнее прила-

дить его к своей груди, ибо такую драгоценность, по мнению Данкова, должно было свято хранить только на груди, у самого сердца. А драгоценность в газетном листе была не маленькая: там говорилось «о льготах и преимуществах лиц, водворяющихся в Черноморских прибрежных поселениях» на основании «Положения» 1866 года.

Между прочим там было сказано, что, по § 30-му этого «Положения», лица, приписывающиеся к черноморским побережным обществам: а) не вносят денежных платежей в пользу вспомогательного капитала отставных нижних воинских чинов; б) освобождаются от натурального воинского постоя; в) освобождаются от крепостных, канцелярских и гербовых пошлин, а также от употребления гербовой бумаги; г) производят без платежа акциза рыбный промысел в водах Черного моря; д) беспошлинно производят торговые и промышленные действия, устраивают мануфактуры, фабрики и заводы; е) освобождаются от платежа податей и отправления денежной и натуральной воинской повинности (§§ 19, 22 и 27 «Положения» 10 марта 1866 г.). Кроме того, по § 31, государственные крестьяне получают из запасных магазинов все то количество хлеба, которое по числу их душ причитается из наличных в то время запасов; сверх того, они, если представится надобность, снабжаются заимообразно денежным путевым пособием и пользуются в пути содействием и покровительством власти. По § 32, получают лес и строительный материал. Необходимые для обстройки ка-

мень, песок, известь и проч. поселенцы добывают безденежно, по своему усмотрению, на всех свободных землях в пределах черноморских прибрежных поселений. По § 33: а) на первое обзаведение и устройство жилищ выдается, в случае отпуска леса, по 20 р., а без леса – по 35 р. на каждое семейство; б) на приобретение рабочего скота и земледельческих орудий от 15 до 20 р. на каждое семейство. Такие денежные выдачи производятся безвозвратно (§ 34). По § 35, на общинном праве получают землю, в размерах, не превышающих тридцатидесятиной пропорции на каждый двор или целую семью, считая (в 30-ти десятинах) одну удобную землю, то есть пахотную, сенокосную и выгонную, на хуторном праве также. По § 37, эти переселенцы пользуются указанными льготами в течение пятнадцати лет со дня утверждения «*Положения*» (то есть с 10 марта 1866 года).

Эти превосходные параграфы, как видите, способны очаровать не только человека, ищущего «куска хлеба», а решительно всякого даже вполне обеспеченного каким-нибудь чиновничьим местом. Все дается даром – и земля и леса в благословенных местах; ни солдатчины, ни податей нет; дают даже денег, «коли ежели потребуется». Понятен восторг и благоговение, которые охватили Данкова, когда он узнал об этом, так как материальное положение его, уже пожилого человека, было поистине бедственное.

Бывший дворовый, он после освобождения крестьян вынужден был кормить большую семью (жена и пять человек

детей от семи до двенадцатилетнего возраста) всякой поденного работой в уездном городке и постоянно нуждался и даже бедствовал, «потому что не мог найти для себя должности или работы, дающей необходимые средства для пропитания, одежды и обуви своему семейству, и дать детям своим грамотное и ремесленное обучение».

Чтобы выйти из такого бедственного положения, Данков вздумал уйти из Курской губернии и искать счастья по белу свету. 13 июня 1879 года, взяв с собою старшего сына и оставив семью в собственном домишке при деревне Ольшанце «без всяких средств к содержанию», ушел буквально куда глаза глядят.

Пешком дошел он до Киева и здесь кое-как поместил своего сына в бакалейную торговлю к купцу «в мальчики» на четыре года. Для себя же, по случаю летнего времени и выезда господ на дачи, в имения и вообще вследствие летнего затишья, не мог приискать «полезной должности». Пробыв в Киеве месяц, он «надумал» идти в Полтаву на ярмарку; но отправившись туда пешком, опоздал: ярмарка разъехалась. Из Полтавы он, также пешком и побираясь Христовым именем, добрался до Харькова; здесь он случайно встретил знакомого каменщика-поденщика, у которого и приютился, сделав в справочной «конторе» объявление о месте. Но и здесь, прождавши места около месяца, ничего не добился; дело дошло до того, что каменщик, у которого он «приткнулся» жить, сам нуждаясь в каждой копейке, объявил своему другу, что

он долее не может его кормить – «нет способов!».

Нужно было уходить, опять-таки куда глаза глядят. Вот в это-то время ему и попался обольстительный номер «Нового времени», и можете представить, какое сильное произвел он на него впечатление. «Прочитавши эту статью в газете, – пишет сам Данков, – и находившись от моих неудач более чем в грустном состоянии, зная, что семья моя осталась без запаса дневного пропитания и ждет от меня единственно помощи, я решил отправиться в Черноморский округ, куда и прибыл 4 ноября 1879 года, а восьмого того же ноября поступил на должность в гостиницу с номерами за 8 р. в месяц, да за услугу проезжим господам был вознаграждаем по 10 р. в месяц, что и дало мне возможность посылать моему семейству для дневного пропитания».

Почти тотчас по прибытии в окружный город Данков отправился в управление и выправил там свидетельство для предъявления попечителям Вельяминского и Сочинского отделов, в которых он хотел искать себе местечка; но так как средств для поездки по побережью и осмотра его у него не было, то он решил терпеть до весны; и действительно, около 10 мая 1880 года отправился по побережью. Был в Туапсе, в Сочи, где прожил более месяца, рассматривая места, спрашивая людей, и, убедившись, что здесь «рай земной» и что «лучше не надо», возвратился в окружный город прямо в «управление», заявив желание получить право на поселение в так называемом Пластунском участке. В канцелярии

управления ему сказали, что *одному ему с семейством поселиться нельзя*, что управление *считает это* неудобным, но что *оно желает* населить пустопорожные места *большим количеством семейств*.

«Я тут, – говорит Данков, – высказал, в чем сознаюсь откровенно перед судом, что к переселению в такой благодатный край, как я лично убедился, при таких благодатных правах, какие дарованы 10 марта 1866 года, желающих к переселению должно оказаться весьма много. Это я высказал – *непогрешимо*, потому что, проживая с малолетства в Курской и Орловской губерниях, я постоянно слышал и видел крайнее стремление чернорабочего люда к переселению, как лестное для поселян... Управление высказало, что оно весьма было бы радо, если бы явились в Черноморский округ крестьяне, почему и советовало мне отправиться на место моего жительства и пригласить желающих переселиться в Черноморский округ. Слушая это, я объявил, что словесного поручения его я исполнить не могу: мне никто не поверит, чтобы управление поручило говорить об этом с крестьянами такому лицу, как я. Г-н начальник сказал, что он выдаст *удостоверение* для объявления крестьянам, и тут же на моем прошении и написал резолюцию в этом смысле».

9 сентября 1880 года действительно выдано было Данкову из канцелярии начальника округа официальное удостоверение такого рода: «*В округе имеются в значительном количестве свободные и годные для переселения земли, как осмот-*

ренные уже Данковым, так и другие. Если явятся уполномоченные (до 1 января 1881 года – срок действия правил о заселении и льгот), то препятствий для переселения со стороны администрации не будет».

Здесь же, в канцелярии, Данков купил книжку г-на Верецагина²⁹, в которой правила были подробно напечатаны, и, в видах предосторожности и подлинности этих правил, попросил сделать на книжке надпись, что она приобретена в канцелярии управления.

С этими, как видите, совершенно подлинными документами Данков опять-таки пешком отправился на родину в Курскую губернию, куда и прибыл в ноябре 1880 года, «заставши, – как пишет он в собственноручной записке, – семью мою без особого запаса к жизни. Поосмотревшись дома и повидавшись с родными и знакомыми, запасши нужное для дома содержание чрез продажу единственной коровы за 33 руб., я (продолжает Данков в собственном показании) долгое время оставался дома для поправки одежды и обуви своего семейства и запасаясь на зиму соломой для отопления; а между прочим ко мне приходили для свидания и узнания о правах поселения в Черноморском округе. Имевши у себя удостоверение и печатные правила о наделе и количестве земли и о льготах, я свободно говорил моим

²⁹ *Книжка г-на Верецагина* – А. Верецагин. Справочная книжка для переселяющихся и приобретающих земли в Черноморском округе и путешествующих по Черному и Азовскому морям, изд. Мамонтова, М., 1874.

родным и знакомым о том, что в правилах сказано и что сам я видел. Разумеется, крестьяне должны были поверить мне и убедиться из моих личных объяснений, что переселение в тот край выгодно, и многие заявляли мне свое желание переселиться («Будем хошь виноград есть, коли хлеба нет», – шутя говорили иные) и предлагали мне доверие ходатайствовать об их переселении. Я принял предложение по узаконенным доверенностям и увольнительным от общества приговорам, за что мне крестьяне предложили по 10 руб. с семейства за все мои труды и разъезды по их делу о переселении».

Весть о землях и льготах, принесенная Данковым в деревню, быстро разнеслась по всем окрестным уездам, так что в течение полутора месяца набралось уже более 500 семейств, желающих переселиться. Нотариус К-н свидетельствовал на суде, что Данков, заключавший у него договоры с крестьянами, все время держал себя «самым серьезным и важным образом: он точно исполнял какую-то миссию и старался по возможности даже сдерживать стремление к переселению. Мы с Данковым старались, чтобы по возможности имущество пока не продавалось крестьянами, и что продано было не много, указывает то обстоятельство, что в моей конторе не было совершено ни одной купчей крепости, а только предварительные сделки³⁰. Повторяю, Данков вел себя са-

³⁰ Не лишнее упомянуть, что по заключению сделок Данков платил расходы из тех десяти рублей, которые он выговорил на расход, каждый раз, когда заплатить крестьянину было нечего. Но и из десяти-то рублей он получил только задатки, рубля по три с семьи.

мым серьезным образом, – я нарочно приглядывался к нему, но ничего предосудительного не заметил. Он телеграфировал начальнику округа огромными телеграммами. В одной из них он говорил, что начальство уезда не пускает переселенцев, требует приемных приговоров (от пустых-то мест!). Когда начальник округа ответил, что приемных приговоров не надо, Данков прибежал ко мне в большой радости...»

До сих пор все еще, как видите, можно было чему-то радоваться, да и вообще все и в мечтаниях Данкова, и мужиков, и на словах, и в бумаге (в правилах, удостоверениях и т. д.) – все было хорошо. Но уже легкое дуновение того подлинного значения, какое таит в себе бумага, видно из препятствия при выдаче увольнительных приговоров, которых в сущности вовсе и не надобно было никуда представлять. Впечатление этого дуновения хотя и было изглажено успокоительной телеграммой, но действительность, скрывающаяся во всех этих хороших «словах и мечтаниях», стала обнаруживаться все яснее и яснее, и «на деле», по обыкновению, выходило вовсе не то, что «на словах и в мечтаниях». Засуетился становой, урядник, волостной писарь, кабатчик. «Не давать увольнительных приговоров!» – это было первое изобретение и первая смута, брошенная в сердца переселенцев.

Между тем к декабрю месяцу у Данкова набралось уже до 500 семейств, желающих переселиться, а так как 1 января 1881 года истекал срок льготным правилам, то Данков спе-

шил с переселением, да и крестьянам оно было необходимо, чтобы заблаговременно приняться на новых местах за весенние работы. И вот он начинает посылать в округ телеграммы за телеграммами; 17 декабря 1880 года телеграфирует (85 слов) с уплаченным ответом и между прочим говорит: «Я набрал уже 119 семейств; желающих очень много. Могу ли продолжать?» 24 декабря того же года, телеграммой в 248 слов, сообщает, что уездное по крестьянским делам присутствие требует приговоров, и Данков просит управление разъяснить присутствию, что они не нужны. Третья телеграмма была послана уже из Лозовой, на пути в Черноморский округ: «На две посланные мною телеграммы (от 17 и 24 декабря) ответа не получил и спешу в округ лично узнать, не пропущу ли срок. Из Курской и Орловской губерний много крестьян желает переселиться на Кавказ, а между тем им препятствуют, и по сие время с 525 семействами приговоры не засвидетельствованы, и переселенцы за прекращением срока (1 января 1881 года) потерпят значительные убытки, почему покорнейше прошу о скорейшем распоряжении – засвидетельствовать общественные увольнительные приговоры...» На эту телеграмму последовал также телеграфический ответ: «Ждать разъяснения от губернатора». Но Данков, вероятно, не ждал, потому что прибыл в округ, подал прошение о выдаче ему копии с ответа округа губернатору. И вот какой был этот ответ:

«Мещанин Данков телеграфирует, что набрано 520 се-

мейств, желающих переселиться в округ. Благоволите приказать *предостеречь* переселенцев. На 500 семейств *трудно найти в округе землю*. Притом местность крайне пересеченная, гористая. Необходимо прислать несколько благонадежных лиц осмотреть земли подробно, без чего не советую трогаться с места».

В январе же месяце вслед за Данковым приехали в округ депутаты от местных крестьян (согласно телеграмме из округа) для осмотра местности. Очевидно, что препятствия со стороны «местного элемента» уже возымели свое действие; выборные люди были заражены уже недоверием к Данкову; в воображении их не раз уже мелькнуло: «надул», «обобрал», «сбежал» и т. д. Непривычные к морскому пути, они, как на грех, сели на пароход в бурное время; два дня их трепало в море, и они, еще не доезжая до главного города округа, были уже настрашены и напуганы. Приехав в округ ночью, отыскивали Данкова; переночевали у него. Утром, выйдя на улицу, были изумлены окрестностями: горы кругом нескончаемые. «Так такие-то земли ты нам сулил?» Но Данков сулил вовсе не такие земли, а гораздо южнее, за Сочи, в так называемом Пластунском отделе.

– Надо ехать смотреть! – говорил он, но депутаты были напуганы ездой на пароходе и ехать на парусной фелюге ни за что не соглашались. Явившись в то же утро в управление, они спросили:

– Какие же там места?

Тогда, указывая в окно на горы, лицо, которое они, спрашивали, сказало:

– А вот такие, как здесь!

Это окончательно пришибло депутатов, которые по всем видимостям и были посланы только для того, чтобы привезти домой неблагоприятные известия и удержать народ на старых местах и в старых путях; они не оставались в окружном городе даже и суток и тотчас же отправились сухопутьем на станцию Крымскую и Ростов – домой, не взглянув даже на те места, которые видел Данков и от которых остался в восторге.

Возвратившись домой, Данков был в самом тяжком и глупом положении. Врагов у него было множество и в народе и в «чистой публике»; дело его окончательно провалилось, он оказался «вымогателем чужих денег», шарлатаном и надувалой. Но молва о землях и подлинная, действительная невинность Данкова, его бескорыстное служение делу также не пропали бесследно в народном сознании. Все, что он говорил, было правильно, удостоверено начальством, напечатано и засвидетельствовано, – и молва о «новых местах» и льготах шла в народе своим чередом.

Вероятно, молва эта была не маленькая, и, вероятно, народ вполне верил Данкову, так как, несмотря на то, что ни от кого из доверителей не поступало жалоб на то, что Данков обманным манером выманил деньги, его «обязали подпиской о невыезде», и когда повестка о явке Данкова к судебной

му следователю на 22 декабря 1881 года не застала его дома (так как он явился к следователю 20 декабря, то есть двумя днями ранее), то из этого поступка была сделана самовольная отлучка – причина его ареста, заключения в тюрьме и суда.

Вот плачевная история «мечтателя».

– Обман точно что был! – показывали свидетели, – только неизвестно, кто обманул!..

На суде, конечно, выяснилось, что и земель пахотных нет, и вообще земель нет, и что они не размежеваны, что неизвестно, где какие поселения, что последние вообще, кажется, невозможны, – словом, выяснилось совершенно *не то*, что опубликовано в правилах (да еще со сроком до 1 января), что Данков видел своими глазами и что потом, год спустя, увидели своими глазами и его односельчане, отправившись в те же благословенные места и арендовав там участки.

А как все хорошо написано и как в самом деле хорошо: земли благословенные, всего вдоволь!

На деле же, как читатель видит, вышло совсем, совсем не то!

VI. Обилие «дела»

1

Смущенный доводами моего приятеля относительно специального значения «бумаги» в условиях нашей жизни, я решился поближе ознакомиться с ее деяниями не в таких экстренных делах, как колонизация и возрождение жизни на безжизненных местах, а в обыденных условиях нашей жизни, в удовлетворении будничных общих потребностей. Материалом для такого ознакомления мне послужили разные заметки, собранные мною в разные времена из провинциальных газет. Из них-то я и извлекаю здесь кое-что по части всяких деловых хлопот наших провинциальных захолустий.

На мое счастье, мне попался прежде всего номер «Недели» (1885 года), в котором какой-то провинциальный житель отвечал на ранее помещенную в этой газете статью «Правда ли, что нет дела?» и доказывал, что всякого рода дела в провинции множество, но людей-то настоящих нет для его выполнения надлежащим образом.

«Безграмотные, ничего не знающие люди, в глаза не видавшие университета», делают *«массу дел*, бог знает как, получают *массу* денег, а люди с высшим образованием сидят, извольте ли видеть, по чердакам в Петербурге и «пла-

чутся», что нет дела. Между тем, например, в Александрии, по словам автора корреспонденции, всего только «один поверенный с высшим образованием», а его помощник – выкрещенный еврей, *не умеющий не только по-людски писать, но даже и говорить*; и этот-то феномен-чудак заработал в два года свыше четырех тысяч рублей! Других адвокатов в Александрии нет, и *масса судящегося люда, в особенности в деревнях*, должна обращаться к уличным адвокатам. «Ведь *получать в деревне (!) или таком городе, как Александрия, занимаясь адвокатурой или служа даже помощником секретаря, от 600 до 1000 руб.* годового дохода все равно, что получать в Петербурге 1000–1800 руб.» («Неделя», № 35).³¹

Нас собственно занимает в этой корреспонденции не размер гонорара, к которому любвеобильный провинциальный житель приглашает (статья называется: «Милости просим к нам!») протянуть руки людей высшего образования, ныне плачущих по петербургским чердакам о том, что никаких дел нет и ничего делать невозможно, – сколько неопровержимое свидетельство «жителя» о непомерном обилии «дела» и дел, кишаших и по городам и по деревням. Какой-то человек, не умеющий *говорить*, не только писать, получает до 4000 руб., – стало быть, с обилием *дел* решительно де-

³¹ Передовая статья газеты «Неделя» «*Правда ли, что нет дела?*» («Неделя», 1885, № 32) – призыв столичных безработных специалистов на работу среди «многомиллионной народной массы»; отклик на передовую – статья А. Ж. «Милости просим к нам!» («Неделя», 1885, № 35) – приглашение специалистов приехать на работу в Елисаветградский и Александрийский уезды.

ваться некуда. Они напирают со всех сторон. «В нынешнем году, – прибавляет корреспондент, – *дела* этого самого человека, не умеющего даже говорить, *пошли еще лучше!*» Стало быть, что ни день, то больше и больше *дел*, то есть как раз то самое «*дохнуть некогда*»³², о котором повествовал Апелсинский и которое на деле было доказано и исправником, и мировым судьей, и самим Апелсинским.

«Нет *дела!* Скучно!»

Но если читателю покажется недостаточным вышеприведенное свидетельство корреспондента, то пусть он потрудится прочесть еще нижеследующую выписку из № 210 «Русских ведомостей» (1885 год)³³: «Из статистических данных, приведенных г-ном Хрулевым в «Юридическом вестнике», явствует, что *на долю каждого члена судебной палаты, средним числом, приходится тысяча двести дел в год. В одно заседание приходится выслушивать до ста дел и более, то есть более чем вдвое труд этот превосходит норму работы, которую можно требовать от трудолюбивого судьи. Легко представить себе, каково бывает изучение докладов и обсуждение дел при таких обстоятельствах!*»

Да знаете ли вы еще, читатель, что такое «судебная палата» и что собственно она должна делать? А вот что это такое:

³² См. т. VI, стр. 346.

³³ ...выписку из № 210 «Русских ведомостей» (1885 год)... – в передовой статье этого номера газеты говорилось о работах Хрулева: «Суды и судебные порядки» и «Суды и судебные палаты, как обвинительные камеры» («Юридический вестник», 1885, т. XVII, кн. III).

судебная палата должна быть *«надежнейшей гарантией подсудимых, так как прокурорский надзор, поставленный всем складом своей профессиональной деятельности в невозможность вполне объективно относиться к делу, представляет довольно слабую гарантию (подсудимого)»*. Вот именно для того, чтобы специальность «обвинять» была введена в пределы справедливости, и учреждена особая инстанция – судебная палата, которая «одним почерком пера может смыть пятно с подсудимого или опозорить невинного человека преданием его суду». Дело судебной палаты, таким образом, оказывается до чрезвычайности важным; но обилие дел, благодаря которому каждый член палаты должен разобрать 1200 дел в год и выслушать в день *сто дел* и более, делает то, что инстанция эта находится в самом затруднительном положении. «Столь важный момент, как окончательное обсуждение следственного материала, предопределяющее часто дальнейшую *судьбу дела* (а стало быть, и *судьбу человека*), на практике свелось к обряду штемпелевания. Палата *санкционирует почти все проекты обвинительных актов* и в доказательство того, что они *прошли чрез канцелярию* палаты, прикладывает свой *штемпель*. Точь-в-точь как регистратор, механически прикладывающий печать при записывании бумаг в исходящие книги» («Русские ведомости», № 210).

Вы видите, что «дел» так много, что даже в таких высоких инстанциях, от которых зависит участь человека, его судьба, его жизнь, в пору только «хлопать» штемпелем, в то время

когда следует быть «надежнейшею» гарантией подсудимого! А вы, петербургская интеллигенция, сидите по чердакам с высшим образованием, плачетесь, что «нет дела», тогда как за одно только «Штемпелевание» можете получить от 1,200 до 2,500 р. серебром в год, что при петербургской жизни равнялось бы никак не менее 3000—4000 р.!

Впрочем, затруднительное положение «инстанции», благодаря обилию дел поставленной в необходимость снизить до роли простого регистратора, – положение это еще может быть поправлено самым простым образом: по словам почтенного автора статьи, которую мы цитировали, стоит только *увеличить персонал судебных палат*. Но что вы скажете о положении *нижних инстанций*, которые также буквально по горло завалены делами? Неужели и там также нужно увеличивать «персонал» людей, который в настоящее время за обилием дел тоже ничего не может сделать путного? А что обилие дел в самых низших инстанциях существует и ничуть не меньше, чем в инстанциях высших, в этом не может быть ни малейшего сомнения. Приведу пример, опубликованный в официальной газете, издающейся в самом, повидимому, не канцелярском месте. В № 59 «Терских областных ведомостей» помещена публикация от хасаф-юртовского полицейского управления о розыске разных дел, которые *ветром выдуло* из этого управления 12 истекшего мая месяца (публиковано 21 июля). Что такое Хасаф-Юрт? Ни я, ни читатель не знаем, но по слову «Юрт», вовсе не напомина-

ющему чего-нибудь похожего на «бург», на «штадт» или «а
«город», можем догадываться, что это нечто жилое и нечто
близко напоминающее слово «кочевье». Но что бы это ни бы-
ло, аул ли это, станица ли, или просто одно только полицей-
ское «управление», посмотрите-ка, какое гнездо «дел» заве-
дено здесь! 12 «истекшего» мая из ущелья (вероятно, там ка-
кое-нибудь ущелье есть) стал дуть ветер, а писарь полицей-
ского управления, вероятно, ушел к атаману или священни-
ку, а может быть, к мулле или к князю Бейбулатову есть ка-
рачаевского барашка. Вот покуда он ел (карачаевский бара-
шек худенький, тощенький, и съесть его можно скоро, особ-
ливо «с устатку»), а из ущелья дуло ветром и прямо в поли-
цейское управление, в окно; дуло раз и выдуло следующие
дела: от 10, 11 и 23 января, 17 апреля, 3 и 10 июня и 20 ав-
густа, за №№ 30, 31, 116, 293, 1069, 1070 и 1251. И в другой
раз дуло из ущелья и опять унесло от 13 июня, 4 и 19 июля,
25 сентября и 10 октября, за №№ 566, 714, 740, 1109, 1116 и
1146. Писарь между тем, ничего не подозревая, продолжает
преспокойно есть барашка, болтает о казачках да потягивает
кахетинское, а в то же время из ущелья начинает подувать
совсем не на шутку: дуло в третий раз так, что выдуло сра-
зу целую пропасть дел: от 8 и 27 октября, от 16 января, от 13
марта, 10 и 15 мая, 7 августа, 12 мая и 8 августа, опять от 12
мая и 1 июля, за №№ 977, 1051, 38, 212, 416, 396, 763, 362,
413, и, наконец, сильным порывом выхватило из управления
огромную переписку по делу князя Асланбека Айдемарова

за № 2237 – и все это унесло неведомо куда.

И в первое время после того, как писарь, покончив с барашком, возвратился в управление, трудно было бы заметить пропажу такой массы дел; рассыльный принес уже новый, битком набитый портфель, и только через два с половиною месяца, и то, вероятно, случайно, удалось напасть на след пропажи. И заметьте, 12 мая вылетали бумаги прошлогодние и позапрошлого года, следовательно, дела, которые своевременно не было возможности «обсудить»; еще заметьте, не успела разлететься такая масса не оконченных и не решенных дел, как налетела уже новая. И кроме того, неужели только раз, именно 12 мая, только и дуло так сильно из ущелья в окно управления? И неужели только 12 мая не доглядел писарь, потому что ел шашлык у князя? Ведь он часто ест шашлык и из ущелья часто дует? Нет! Наверное, и прежде десятки лет выдувало точно таким же образом *массу дел* и уносило куда-нибудь через Урусбиевский перевал в Сванетию, а иначе давно бы уже шла речь об увеличении хасаф-юртовского персонала, так как переделать всех этих дел как должно, наверное, без помощи ущелья писарь не был бы в состоянии, потому что это *фактически невозможно*, скажем мы словами «Русских ведомостей» (№ 210), объясняющими «штемпелевание» судьбы людей в высших инстанциях.

Таким образом, обилие всевозможного рода «дел» не подлежит никакому сомнению: дела эти кишат вокруг всех нас,

кишат кишмя, заполняют всевозможные инстанции от самых низших до самых высших и повсюду требуют увеличения персоналов, увеличения денежных смет, даже расширения построек! – по крайней мере о расширении тюремных зданий знатоки дела поговаривают довольно часто; кроме всего этого, к существующим уже инстанциям, оказывающимся буквально заваленными делами, поминутно прибавляются новые учреждения и инстанции, новые расходы и сметы расходов, и к новому делу привлекаются новые массы деятелей. И если бы мы позволили себе предположить, что хоть одна сотая часть этих бесчисленных «дел» правильно и просто соответствует назначению тех инстанций, в которых эти дела делаются, то есть если бы мы предположили, что десятая часть этих дел делается для того, чтобы мне, отдельному лицу, и обществу, в котором я живу, было бы лучше, легче и разумнее жить на свете, так давно бы уж у нас на Руси были кисельные берега, медовые реки, и жили бы мы все в прекрасном саду, где растут золотые яблоки и поют райские птички. Но стоит нам от общего представления бесконечных хлопот о личном и общем благе, удручающих старые и вновь возникающие инстанции, перейти к действительной жизни какого-нибудь жилого человеческого места, положим, хоть современного губернского города или современной русской деревни, чтобы тотчас же убедиться в существовании двух чрезвычайно тяжелых явлений: во-первых, в полной безжизненности житейских отношений и, во-вторых, в нравствен-

ной тоске, в томительной скуке жизни того большого круга интеллигентных людей, которые наполняют местные инстанции и, повидимому, хлопочут не для чего иного, кроме благообразия и упорядочения жизни. Деятели томятся, тоскуют, скучают, стремятся как-никак размять свободные от занятий часы, а общественная жизнь, несмотря на обилие хлопот и деловой суеты, которыми завалены эти скучающие деятели, идет так, что как будто еще и в помине не было каких бы то ни было инстанций, обязанных заботиться об ее благообразии.

2

Имея намерение в настоящем письме коснуться именно этого непривлекательного, томительного и вообще неблагообразного по результатам соединения хлопотливой деловой возни с тоскливым существованием интеллигенции и полной заброшенностью действительных, живых общественных нужд – соединения, которое характеризует переживаемую нами теперь минуту, – не могу не сделать небольшого отступления и не рассказать одного моего очень простого разговора с одним крестьянином об очень простом, но действительно человечески-необходимом и человечески-справедливом общественном деле. Быть может, разговор об этом маленьком деле даст мне возможность лучше разобраться в той большой суете, о которой идет речь. Крестьянин, с которым у меня случайно вышел простой разговор о простом и не громком деле, был старик-каменщик; на своем веку он исходил никак не менее пол-России; немало поработали его руки при постройке церквей, домов, казарм. Рассказывая об этих работах и о трудах, в которых он провел жизнь, старик не рассказал мне ничего особенно любопытного: расчеты, харчи, хозяева... Но оказалось, что в этой трудовой и однообразной жизни было одно такое воспоминание, которое оставило в нем самое приятное и вместе с тем сложное впечатление. Воспоминание это относилось к постройке в одном из угол-

ков южной России новой немецкой колонии. Пока он рассказывал мне историю своей долгой рабочей жизни и заработка, никаких, повторяю, иных воспоминаний, кроме воспоминаний только о зарплате, не возникало в воображении старика; но едва только речь зашла о постройке этой немецкой колонии, как тотчас же что-то приятное, светлое проекользнуло в памяти рассказчика, зазвучало в его голосе, засветилось в его лице. Постройка «колонии» была для него не только заработок, не только работа рук, но как будто бы такое хорошее дело, вспоминая о котором радуешься, что мог приложить к нему свои руки, что мог в нем участвовать.

– Уж так-то хорошо, так-то искусно надумано! Даже и слов не подберешь, как уж и похвалить-то! Вот какое благовидное дело сделалось!

По рассказам старика, старая немецкая колония, почувствовав излишек населения и видя, что в ее среде выросло уже новое здоровое поколение мужчин и женщин, имеющих все права жить вполне самостоятельно и независимо, чтобы удовлетворить этой совершенно законной, совершенно простой, человечески-понятной и уважительной потребности молодого поколения, купила огромный лоскут земли, выстроила на нем сразу целую улицу каменных домов со всеми необходимыми в хозяйстве приспособлениями и службами, сразу «сыграла» тридцать свадеб и сразу же «отсадила», как рой, в новый со всеми возможными удобствами устроенный улей. И все это сделалось благодаря самому простому и

вполне человечески понятному обычаю колонистов, вследствие которого в тех семьях, где много сыновей, только старший сын считается наследником отцовского имущества, а все последующие хотя и живут до возраста в отцовском доме, но считаются уже работниками, то есть за свои труды в отцовском доме – труды, несомненно увеличивающие отцовский достаток, – получают обыкновенную заработную плату. Эта заработная плата не выдается, однако, на руки детям, так что они живут в отцовском доме, вовсе не чувствуя себя нанятыми батраками, а вся сполна вносится в общественную кассу, и вот из сумм-то этой кассы и получают те могучие общественные средства, которые дают возможность ежегодно устраивать, *сажать* на собственное хозяйство подрастающие молодые пары, сначала помощью покупки в той же самой колонии свободных и никого не стесняющих участков, а со временем, когда не оказывается возможным обойтись наличными средствами, большие общественные суммы, добровольно и сознательно вложенные в общую кассу каждым отдельным домохозяином, дают возможность, без всякого ущерба или обременения существующих хозяйств, отсадить на новые места и в новые жилища сразу целый новый молодой выводок. Этот выводок, при помощи тех подростков, которых не поглощают семьи старой колонии и которые в новой примыкают к новообразовавшимся хозяйствам как работники, то есть люди, имеющие быть впоследствии также хозяевами, начинают жить трудами рук своих, еще бо-

лее увеличивая общественные средства разрастающейся колонии и давая ей возможность на эти средства улучшить свой внешний вид, строить церковь, школу, мостовую, водопроводы, даже гулянье, вокзал для танцев.

– И так-то я, – говорил старик, – в ту пору на них любовался да радовался: кажется, в жисть свою такого мне не было удовольствия! Уж так-то хорошо, да весело, да благородно! Ну, скажите на милость, ну что, ежели бы не отсаживать выводков-то, а держать их, вот как в наших горьких местах, в тесноте, ведь что бы это было?. Ведь мы видим, как в наших местах-то из-за этой тесноты-то слезы льются... Буду я говорить так, что, положим, вот хоть у меня три сына, и все три сына женатые. Работают они в доме все, и достояние в доме всеобщее, а ведь работа работе не ровная, и каждый свою работу знает. Каков есть кусок сахара, а я вижу, сколько в нем моего поту есть и сколько братниного; я уж знаю, кто мой угол у куска-то у сахарного откусил, – молчу, а сам себе думаю: «ишь, мол, кто моими-то трудами лакомится!» Да кроме этого я человек женатый, у бабы у моей свой характер, ведь мы хотим жить своим домом, своим хозяйством, по своему характеру; моей бабе милы ее ребята, а братниной жене, предположим, они не милы; у самой-то у ней нет детей, а на моих она работать не хочет. Ну как же тут, в тесноте-то, соблюсти себя в тишине да в любви? Только и есть, что молчат все друг про друга да друг при друге, да боятся стариков, пока живы да строги. Только одним страхом и прищемлены

кучей жить... Тут на каждом шагу из-за одних баб чего на-терпишься. Каждая баба, ведь она еще больше нашего хочет жить сама по себе; она все на свою мерку меряет, ей все надо, чтоб по ейному вкусу было, по Авдотьиному, а не по Марьиному или по Матрениному... А где же тут в котле-то со своим вкусом уместиться так, чтобы чужой не мешал? Ведь и Марья и Матрена тоже только в свой вкус веруют, ну и идет шипучее зло... Пока что боятся родителей, копят злобу потихоньку, терпят, а придет невтерпеж, начнут делиться – и растащат большой дом по мелким кускам. Разбредутся по хибаркам прямо на хлеб да на квас. Поди-ка избу-то заведи, поди-ка со скотиной-то справишься! А тут, глядишь, ребенок родился, а там, глядишь, корова пала, помочи нет ниоткуда! Вот и бьется человек день и ночь из пуста... «Сем-ко, думает, пойду на фабрику, поправлюсь; принесу денег, все исправлю!» Пойдет на фабрику-то, а там, глядишь, и пить выучился, а то так и совсем распьянствовался со скуки по дому-то... А со скуки по бабе по своей, глядишь, и связался с какой-нибудь мадамой на чужой стороне, да заболел, да домой-то воротился и пьяный и больной, и жену-то в болезнь вогнал, а наконец того, с горя, да с нужды, да с неудачи и вовсе пропащим человеком сделался... В деревне ослабеть недолго! Иной, ослабевши, пьет, а иной жену бьет, а иной и темными делами начнет заниматься: глядишь, и поймали у соседского амбара и в острог повели, а по улице по деревенской ребятишки его с мамкой со своей в отрепках пошли

милостыню просить! Так вот как по нашим-то горьким местам бывает! Да как поглядел я в ту пору на этих тридцать-то свадеб, как они с музыкой, да с песнями, да с весельем в новое-то место шли, да как вспомнил наше мужицкое житье-бытье, так, веришь ли, так меня слеза и прошибла... перед богом! И ведь как тихо-то да благородно, так просто на редкость! Идут люди в свои дома, все это они сами выработали, покуда росли, никому ни в чем не запутавши, в ноги никому не кланяются, чтоб поверили рубль серебром примерно для начатия хозяйства, все у них свое, трудовое, и во всем своя воля! Так-то, братец ты мой, складно это у них, так-то благородно, чинно да весело, что вот уж сколько годов прошло с постройки-то, а как вспомню, так и сейчас побег бы полюбоваться на них! Право слово, побег бы!

Я очень хорошо знаю, что идиллия, нарисованная рассказом каменщика, натерпевшегося от старых и новых непорядков, не вполне соответствует действительности. Но в то же время я несомненно знаю, что, даже и не разделяя восторженных похвал, расточаемых каменщиком «порядкам», царящим в колониях, порядки эти, каковы бы они ни были, все-таки лучше и человечнее того, что мы в «наших местах» привыкли называть также «порядками». Из всего, что мне лично приходилось видеть, читать или слышать от очевидцев, близко знающих те человеческие общежития, которые называют колониями, я, да и всякий другой, не мог не вывести заключения, что эти общежительские места живут хорошо, доста-

точно, умно и тихо. Тишина, которою окружены эти трудовые общежития, замечательна; в настоящее время мне приходится просматривать чрезвычайно много разных провинциальных газет, а известно, что провинциальная пресса особенно широко разрослась на юге России, как раз в тех самых местах, где процветают немецкие колонии, то есть в Новоросеии, Крыму, Кавказе, и нигде, ни в одной газете, почти никогда ни единым словом не упоминается о житье-бытье колонистов. Изредка только мелькнет известие, что, мол, нашим южно-русским мужикам становится трудно жить от этих колоний, с каждым годом все дальше и дальше раздвигающих свои пределы помощью покупки сотен тысяч десятин земли, но почти никогда нет ничего похожего на известия, идущие из наших сел и деревень.

Разбой, грабеж, пожар, падеж, эпидемия, надувательства всех видов и образцов – известия обо всем этом валом валят на страницы наших провинциальных органов из деревень, сел, поселков и городов, и почти никогда не слышится о них из тех общежитий людских, которые десятками лет живут в самом близком соседстве с той или другой немецкой колонией; даже для них жизнь, нравы и порядки соседей-колонистов известны только в весьма слабой степени, точно будто по соседству и нет никакого жилого места, да и все те, вполне достойные уважения лица, от которых я слышал много рассказов про жизнь и порядки в колониях, и те большую частью всегда *случайно* знакомились с ними. О коло-

нии, например, Темпельгоф близ Пятигорска, удивляющей всех случайно заглядывавших туда необыкновенным благоустройством и достатком, – колонии, имеющей роскошный внешний вид, с мостовыми, с освещением, имеющей свою прогимназию, свои общественные учреждения вроде паровых общественных мельниц, – об этой колонии стало известно только в самое недавнее время благодаря случайному описанию ее, помещенному в «Терских ведомостях», – описанию, исполненному бесконечных похвал и удивления пред людьми, которые сумели так уютно, хорошо, тепло, светло и благообразно устроиться и жить тут же под боком у нас, под боком у людей, которые только и делают, что вопиют об увеличении «персоналов» да об учреждении новых инстанций. Ни мировой судья, ни окружный суд, ни следователь, ни, словом, вся огромная провинциальная интеллигенция, заваленная выше головы «делами», почти не знают даже о существовании этих колоний, которые живут и процветают у них же под боком и даже под носом, а это значит только то, что колонии не нуждаются в содействии всех этих инстанций и людей, пекущихся об общественном благополучии, и находят возможным удовлетворять всем своим нуждам единственно при помощи собственных средств.

Очень хорошо всем известно, что немцы-колонисты являются в Россию с большими средствами, дающими им возможность сразу устроиться хорошо и уютно, тогда как наш крестьянин, отделившийся от родителя, начинает жить толь-

ко с «голыми руками». Но я говорю о благосостоянии колоний вовсе не для того, чтобы корить им нашего горемыку-мужика, а единственно для того, чтобы обратить внимание на тот прием, способ, манеру, если угодно, помощью которых люди находят возможным жить на белом свете справедливо и благообразно. Я говорю о колониях и «порядках», господствующих в их жизни, для того, чтобы *припомнить*, в чем же собственно заключается суть «общественного блага» и «общественного дела», так как за обилием кишашей вокруг нас деловой суеты положительно можно утратить всякое ясное, живое представление о живом, человечески-понятном деле. Благодаря знакомству с жизнью такой маленькой по-человечески живущей группы людей я могу видеть, что суть всего благообразия житья-бытья этой маленькой людской группы есть *самое простое, самое действительное и самое реальное удовлетворение человека в необходимых для его существования надобностях*, – вот тот до чрезвычайности простой и до чрезвычайности благодетельный прием, которым руководствуются колонисты во взгляде на свои общественные обязанности. Люди, живущие трудами рук своих, знают, что и дети их будут жить точно так же, как и они; но для того, чтобы жить таким образом, нужно, чтобы у человека было все необходимое: земля, дом, скот, орудия; нужно, стало быть, купить и дом, и скот, и землю, и орудия, и вследствие такого простого взгляда на человеческую нужду и общественное дело становится простым, важным и впол-

не человеческим. Помощью общественной кассы, никого не обременяющей, наполняемой деньгами добровольно, из чувства личной потребности быть справедливым и покойным за будущее поколение, образуются те средства, которыми и удовлетворяются вполне простые и вполне необходимые нужды человека, живущего трудами своих рук. И вот такое-то *простое дело* сразу уничтожает возможность бесчисленного количества всевозможных общественных язв: уничтожает нищенство, уничтожает бродяжничество, воровство, семейный разлад из-за нищеты – словом, сразу делает совершенно ненужною ту обременительную, тяжкую, бесплодную суету сует, которая заваливает всевозможные инстанции всевозможными делами. Наш народ, начинающий жить и живущий с «голыми руками», находящийся в зависимости от случайностей своего труда, – наш народ, очевидно, нуждается гораздо более, чем те люди, о которых мы только что говорили, в том, чтобы люди «общественного дела» относились к его положению *как можно проще*. Он также живет трудами рук своих, но этот труд находится в неблагоприятных условиях, подвержен тысячам случайностей, которые могут лишить возможности человека трудиться и, следовательно, поставить его в совершенно беспомощное положение. Следовательно, желая «пещись» о нем, необходимо только одно простое и важное дело – *обеспечить для него возможность и спокойствие труда*, и больше ничего не нужно! Но вот именно этого-то простого внимания к насущнейшей нужде

человека, живущего только собственными своими руками, мы и не видим во всей той бесконечной деловой суете, которая кишит вокруг нас.

Заглянем на минуту в кое-какие из этих многочисленных инстанций, обремененных утомительным трудом «штемпе-левания» обвинительных актов и запечатывания бесчисленных пакетов, и посмотрим, что там делается.

Вот пред нами какое-то Глажевское волостное правление, Новоладожского уезда, Петербургской губернии. Дел оно делает много, но мы (возьмем только одну частицу этих дел, именно дела волостного суда, да из этих-то дел также коснемся только одной из множества забот, удручающих господ волостных судей, – именно заботу о взыскании податей. Вот в каком виде осуществляется ими эта забота: «по решению глажевского волостного суда приговорены к телесному наказанию, по 20 ударов, за неплатеж податей крестьяне следующих обществ: из 45 надельных домохозяев Подцоньевского общества приговорено к розгам 25 человек; Оломенского из 45–23 человека; Лаховского из 35–26 чел.; Гатицкого из 41–32 чел.; Меминского из 51–35 чел.; Глажевского из 105–38 чел.; Черенцовского из 83–19 чел.; Теробочевского из 44–7 чел.; Наволокского из 35–11 чел.; Наростынского из 33–8». И все эти приговоры постановлены только в промежуток времени с 16 мая по 23 июня настоящего года.

Таким образом, в течение месяца из 517 домохозяев, на-

селяющих волость, высечено 224 человека³⁴, то есть без малого наказана половина волости. За что же? А за то, что не платят податей. Отчего же они не платят? Да вот отчего. «В большинстве случаев³⁵ у бывших помещичьих крестьян Солецкой и Глажевской волостей на одну ревизскую душу приходится от 3/4 до 1 десятины пашни, и только у некоторых государственных крестьян Глажевской волости, имеющих надел более 10 десятин, количество пахотной земли достигает до 1 1/2 десятин на душу. Почва песчаная, глинистая; овес никогда не дает хороших урожаев: обыкновенный урожай овса сам 2–3. Но и этот скудный урожай не составляет полной собственности землепашца, так как большинство крестьян берет овес на посев у кулаков или у местных помещиков, причем платит такой процент: либо овсом же за куль полтора куля, либо деньгами – 1 р. 50 к. или 2 руб. за куль, причем эти деньги вносятся при получении овса, а самый овес возвращается осенью. При урожае сам 2–3 крестьянину очень часто, по уплате роста, остается одна только овсяная солома. Но часто и за такие проценты не все нуждающиеся могут достать семена на посев. В нынешнем году многие крестьяне должны были оставить незасеянными свои яровые поля. Некоторые крестьяне, в ожидании ссуды на посев от новолодожской земской управы, запахали было свои поля,

³⁴ Цифры официальные («Неделя», 1885 год).

³⁵ «В большинстве случаев...» – цитата из статьи «К статистике сечения (Письмо из Новолодожского уезда Петербургской губернии)» – «Неделя», 1885, № 30.

но ссуда не была разрешена, и они *вынуждены были отдать задаром свои нивы односельчанам-богачам*, имеющим семена, лишь бы только земля не пустовала. Кроме всего этого, 1884–1885 год был особенно неблагоприятен для крестьян названной местности. Сибирская язва свила себе здесь постоянное гнездо, унося сотни и тысячи рогатого скота и лошадей; в 1884 году она даже и людей не щадила. За этим бедствием последовал неурожай на хлеб, тогда как и в благоприятные годы только у некоторых из здешних крестьян хлеба хватает на полгода» («Неделя», № 28).

В цифрах, которые приведены выше, не может быть ни малейшего сомнения; они собраны статистиками петербургского земства; это не выдумка, а сущая, совершенная правда. Посмотрите на них и подумайте, что это такое? В мае и июне месяцах, когда каждый деревенский ребенок может определить, будет ли он сыт или голоден зимою, то есть в то самое время, *когда собственными глазами можно видеть*, сколько засеяно в полях и хватит ли этого засева на насущные потребности населения, – в это-то время, во имя какого-то нравственного повреждения в глубине сознания и совести людей, знающих действительное свое положение, совершается дело поистине тупоумное, ни для кого и ни для чего не нужное. Что же это такое? Можно было бы впасть в большую ошибку, если предположить, что побудителем к сечению была человеческая жестокость. Нет! наказывают просто потому, что мысль о возможности *в самом деле* удовлетворить

наущные нужды поселян, удовлетворить просто, справедливо, по-человечески – эта мысль никогда ничем не поддерживалась в народном сознании. Наказывают *зря*, зная, что никто не виноват, но надо же что-нибудь делать в такие критические минуты, когда нечем платить податей, то есть нельзя выполнить первой обязанности обывателя. Фальшивое, тяжкое дело делается в тех именно затруднительных человеческих положениях, которые требуют самого простого и внимательного удовлетворения.

Убавьте цифру наказанных в *одной только волости* в десять раз и вместо 224-х примите за норму только 22 человека на волость, помножьте эту цифру примерно на 10, чтобы получить примерное число наказанных в уезде, умножьте имеющую получиться цифру опять на десять, чтобы иметь понятие о количестве наказанных в губернии, наконец и эту цифру увеличьте в размерах количества губерний и вы получите нечто чудовищное. Наказано 224 человека потому, что никто не привык *справедливо и просто думать ни о своей нужде, ни о нужде ближнего*. Наказанный человек освободился от тяжкого бремени; дома его мучила нищета, нужда, голодовка, плач голодных ребят, жалость об умиравшем мальчонке. Он сердился дома на кулаков, которые его обобрали, ругался даже над сходом, роптал на порядки, при которых никак не справишься, и его наказали, то есть дали ему право плюнуть на свои человеческие терзания, сделали совершенно ненужными его мысли о порядках и непорядках, пре-

кратили в нем всякие совестливые душевные движения. Кто и что еще может от него требовать? Кто и в чем его может обвинять? У него на спине рубцы, он *за все* пострадал, пострадал настоящим образом; ему теперь нельзя, невозможно не отдохнуть от всех своих мук и всего своего горя и, главное, от этих рубцов на спине, – и он отдыхает в кабаке; жена, ребята теперь пусть погодят: он ведь действительно пострадал и измучился. А чтобы совершить такое тупоумное дело, как порка 224 человек, нужно написать и составить 224 протокола, нужно исписать пропасть бумаги, и немудрено, что писарь просит прибавки, что писарские жалованья растут с каждым годом.

Поднимемся ступенькой выше и заглянем в камеру мирового судьи.

Возьмем для примера опять-таки только кусочек из этой глыбы «дел», положим, хоть дела о семейных крестьянских ссорах, благо материал относительно этого рода дел находится у нас под рукою. Мы имеем в руках, во-первых, письмо бывшего мирового судьи, напечатанное недавно в «Русских ведомостях», и статью из «Юридического вестника» г-на Лудмера³⁶ о бабьих стонах. Обе эти статьи рассказывают об одном и том же уголке Московской губернии, и для обеих статей не только хватило материала, но мы имеем основание думать, что материал этот далеко не исчерпан, так как в непродолжительном времени в печати должны появиться материалы, касающиеся тиранства над детьми и почерпнутые опять-таки из того же самого крошечного подмосковного мирового участка. Что же тут творится, в этом случайно разрытом муравейнике? *«Ежедневно, – говорится в письме г-на мирового судьи, – в мою камеру приходили десятками изувеченные, истязуемые, избитые бабы. Почти то же самое я видел и в уездном городе в 1882–1884 годах, где мелкие мещане, ремесленники, пригородные жители бесчеловечно заколачивают своих жен. В памяти моей живы ужасные избиения жен и малых детей, истязания беременных, которых*

³⁶ ...статью... г-на Лудмера... – Я. Лудмер «Бабы стоны» («Юридический вестник», 1884, XI и XII).

изверги привязывали за косы и лупили ремненным чересседельником по животу, плечам и груди. У одной молодой женщины защемили косу между половицами; свекровь держала, а муж бил. Один *потерянный* мужик снял одежонку с малых ребят и бежит пропивать ее. Жена нагнала его и стала отнимать одёжу. Мужик начал неистово бить ее кулаками и сапогами, и ее еле живую принесли в мою камеру. Другой *пьяница*, войдя в избу, сбил кулаками люльку с грудным ребенком, а потом вышвырнул его на мороз. Один *спившийся с кругу* здоровенный мужик бросился колотить жену; она в это время держала ребенка, умирающую девочку трех лет, девочка умоляла «не бить маму», а мать, вся всклокоченная, в крови, должна была утешать испуганную и умирающую девочку. Судился у меня еще один мужик; тот мало того что бил свою жену, он вырвал у нее ребенка двух лет, мальчика, и жег его тело над горячей лучиной... Но я бы мог исписать сотни листов, если бы вздумал утруждать читателя делами женской мартирологии. Это несколько капель в целом потоке слез» («Русские ведомости»).

Читая бесконечную летопись ужасов расстроенной крестьянской семьи, можно, наконец, совершенно потерять способность возмущаться этими ужасами, можно прийти до полного одеревенения, граничащего с равнодушием и полным невниманием одинаково как к тирану, так и к его истيرانенной жертве. Безобразие, жестокость, бесчеловечность, зверство, *ежедневно* и ежеминутно кишашие кругом вас, до того

утомляют вашу мысль, что вы, наконец, отказываетесь мучить себя размышлением об этих бесконечных и решительно непонятных проявлениях человеческой жестокости. Но надобно понять их, и тогда безобразнейшая картина зверства примет значение, вполне постижимое здравым рассудком.

«Крестьянка деревни Зибровки, Елена Иванова, заявила мне³⁷, что муж чрезвычайно жестоко обращается с нею и тремя малолетними детьми. Он *не велит ей беречь последних* и вымогает от нее деньги на пьянство. Два дня тому назад, когда она стряпала, муж накинулся на нее с яростию, *начал кусать ее зубами и хотел откусить нос*, но она успела крикнуть: «Заступитесь, детки! он меня загрызет!» Маленький, девятилетний сын бросил тогда в отца щепкой, после чего мучитель оставил ее и кинулся на мальчика, которого безжалостно избил. Елена обращалась в тот же день к старосте и к старшине, но те ничего не сделали. В ту же ночь мужик схватил полено и хотел убить мальчика, и когда жена удержала его, то он нанес ей тяжкие побои; разделавшись с женой, он выгнал сына из избы, и тот переночевал на дворе. Теперь как только отец завидит своих детей, то начинает кидать в них камнями. Перед подачей Еленой жалобы она была выгнана мужем ночью из дома. Ей негде было ночевать, она пошла к волостному старшине, но тот не обратил никакого внимания на ее положение и, вместо того чтобы оказать ей защиту, сказал: «Мне какое дело, ночуй, где знаешь!» Так как ли-

³⁷ Факты заимствованы из статьи г-на Лудмера. «Юридический вестник», № 5.

цо Елены было сплошь покрыто рубцами, то я распорядился освидетельствовать ее через врача и акушерку и через два дня назначил разбирательство дела, к каковому времени я имел в виду получить уже заключение медика.

«Муж Елены поразил меня *одичалым* выражением своего лица. *Несмотря на настоятельные* обращенные к нему *вопросы, за что он так зверски поступает с семьей*, он только тупо обводил глазами камеру и бормотал:

«— Ефто действительно!..

«Оказалось между прочим (?), что ни лошади, ни коровы у него нет, что изба не нынче-завтра развалится, хлеба своего хватает лишь до января, недоимок много (за каковые два раза был сечен), но сколько именно, сказать не может. Разорила его порубка, которую он произвел в лесах помещицы (а не произвести он ее не мог, так как лес им не отведен, а купить не на что). Его поймали и оштрафовали; тогда продали лошадь, а корову он после этого пропил. Сильно пьянствует он уже два года».

Дело крестьянки Мироновой. «Муж Мироновой, точно так же как и муж Елены, постоянно ее бьет, грозит убить ее до смерти, пьянствует и не работает. На разбирательстве обнаружилось, что Миронов бьет свою жену «сапогами и железным гвоздем», которым *обдирает ей лицо*, что, напиваясь, он *грызет ее зубами и изгрыз ей большой палец*, потом кричит:

«— Я тебя непременно убью, живой не оставлю!

«Миронова на вид женщина больная и слабая. Обвиняемый объяснил свои зверства пьянством, а почему пьянствует – не в состоянии был растолковать.

«– В нашей деревне все пьют!

«Это его *ultima ratio*³⁸.

«Эта «наша деревня» *между прочим* (?) замечательна тем, что ей в надел отведено буквально болото, которое могло бы представлять интерес для ружейного охотника, но никак не для пахаря» («Юридический вестник», № 5).

Из этих двух примеров, к сожалению, слишком кратко, поверхностно, «между прочим» объясняющих самые коренные причины расстройств крестьянских семейств, читатель весьма просто объяснит себе с первого взгляда непостижимые, бесчеловечные, даже безумные проявления в человеке зверских инстинктов.

Он, женатый, семейный, с детьми, не имеет ни земли, ни дров, ни скота; все эти *насущные нужды* разрешаются драгьем в волостном правлении за недоимки, продажей скотины, то есть унижением нравственным и еще большим упадком материальным. К чему тут приложить руки? Чем кормить семью, вообще что делать с собой? Ведь любовь к семье можно проявлять каким-нибудь реальным делом, в труде для нее, в заботах о ее тепле, сытости, но тут нет возможности проявить себя ни в чем подобном. Что же удивительного, что человек начинает просто-таки не понимать самого себя, не

³⁸ *Ultima ratio* (лат.) – последнее средство.

понимать своей семьи, считать жену и детей злодеями, извергами, которых мало сжечь на огне, заморозить на морозе, изодрать железным гвоздем, потому что они хотят жить, варить что-то в печи, разговаривать, плакать, радоваться... Все это упрекает его в своем несчастье, в нищете, в голоде, в холоде, тянет из него душу каждую минуту, тогда как он *ничего не может*. Муж Елены ничего *не мог ответить* судье на вопрос о том, *зачем он тиранит семью*, кроме бессмысленного бормотания: «эфто действительно». Муж Мироновой *не мог объяснить*, зачем бьет, зачем пьянствует; а бьют и пьянствуют, как мы видим, зверски, ужасно, а корень всему этому опять-таки очень простой и ясный – невозможность трудиться, *фактическая невозможность* жить трудами рук своих.

«Крестьянин Дмитрий Никитин в продолжение девяти лет *безмилосердно* тиранит жену свою Арину. Свекровь не только не бережет ее, но еще наговаривает сыну на нее и подстрекает его «учить жену». Кроме мужа, и брат его, солдат, также не упускает случая упражняться на спине Арины. В результате Арина, больная, анемичная, необычайно худая женщина, взывает к закону о защите. Обвиняемые упорно отрицают факты насилия, но свидетели подтверждают их и сообщают такие подробности: Дмитрий, будучи под хмельком, бросил своего четырехлетнего сына об стену и «пришиб» его так, что мальчик теперь «ничего не понимает». Когда один из свидетелей спросил солдата (брата мужа), за что

он бьет братнину жену, тот отвечал: «Мне все равно добивать ее, один конец, ведь еще раз придется идти в Сербию!» Свекровь же говорит: «Убью тебя, околеешь, будет другая сноха». «Как я ни добивался, – говорит г-н Лудмер, – *выяснить причины этой ненависти к безответной женищине, мне этого не удавалось*, по крайней мере ближайших причин мне не могли указать ни свидетели, ни жалобщица. Несколько правдоподобным представляется объяснение сельского старосты: Арина взята из дальней деревни, причем *отец ее уверял семью Никитиных, что дочь его чуть ли не первая в околodge работница*. Между тем Арина, по словам старосты, к сельской работе *мало способна*, хвора, вдумчива; свое разочарование Никитины теперь и вымещают на Арине, не оправдавшей хозяйственных надежд семьи».

Несчастную Арину заколачивают в гроб, заколачивают всей семьей, причем брат мужа помогает в этом деле, то есть, я говорю, в буквальном смысле *помогает* улучшить положение семьи смертью *слабой* бабы; тогда можно взять сильную. Отчего же ему не подсобить? Он идет в Сербию, там его убьют ни за что ни про что. Лучше же он «по крайности» для брата сделает добро, и он дует, чем ни попадя, *неработающую Арину*... Вы видите, что их, Никитиных, обманули, что отец выдал им ее за настоящую работницу, то есть насулил им в Арине лошадиную силу, а она вон какая оказалась. Было трудно, думали «поправиться» при помощи лошадиной силы, новой бабы, а она вон какая... А несчастный

отец несчастной Арины? Он-то врал из-за чего? Из-за чего он лгал перед Никитиным, говоря о своей дочери: «Какая девка! девка, я тебе говорю, одно: кобыла, вот что! Ты не гляди на нее, что она с виду-то хлипкая, – я тебе говорю: огневая девка! Толстомясых-то много девок, пожалуй, бери какую хошь – мне что! у меня она не засидится долго, а что прямо говорю: лошадь по работе, во сто лет ты из нее силы-то этой не вымотаешь!» Зачем он врал примерно таким образом? А затем, что Аринка у него лишний рот, ему и так трудно, а она, вишь, слабая... Сбыть ее с рук – все будто полегче будет. А то, как на грех, захворает, так тут, пожалуй, и расхотаться придется, а из чего? И так не из чего взять-то! Запутаешься пуще прежнего; а запутался, ослаб...

И вот, чтобы *не ослабеть*, Аринин отец «всучивает» дочь свою Никитиным, а Никитины, убедившись, что их обманули, стараются, также для того чтобы *не ослабеть*, вколотить Арину в гроб.

Вот и Александру Антонову муж ее тоже норовит в гроб вогнать; он давно *отбился от земли*, ведет праздную жизнь и колотит ее. Несколько дней тому назад он догнал Александру на улице, повалил ее на землю и поволок за косы, но, к счастью, ее тогда спас староста, который взял с него расписку, что он больше не будет бить Александру. Но вот вчера она, обливаясь потом, работала за станом и, видя мужа пьяным, не стерпела и сказала ему: зачем он пьет, когда у них нет куска хлеба? Такой упрек *не понравился* Антонову; запе-

рев кругом избу, он вместе с матерью своею (также падкой до вина) накинулись на Александру и стали ее бить; Антонов надел ей на шею петлю, затянул ее и наносил удары чересседельником, а потом и кулаками по груди, в чем ему помогала и мать. На крики Антоновой сбежался народ, но в избу никто не вошел, а только смотрели в окно. Это истязание продолжалось около часу. Она впала в беспамятство и так пролежала *целый день* на полу. Очнулась в луже крови и с вывихнутой рукой. По окончании боя Антонов стянул с нее одежду и пропил. Она работала по целым дням, доставала с фабрики пряжу и платила за мужа подати. Антонова привели на разбирательство под конвоем двух десятских, так как он успел уже где-то украсть тулуп, за что и взят был под стражу. По словам его конвоиров, обвиняемый *уже много раз был подвергаем телесному наказанию* в волости за *праздность*.

Но извольте быть не праздным там, где вместо земли болото, как, например, в деревне Дурасовке, где на 23 двора, составляющих дурасовское сельское общество, падает всего 7 лошадей и 12 коров, земли на душу приходится по полторы десятины, и притом плохой; лесов нет; луга болотистые; разных платежей, как водится, много. Из 105 душ дурасовцев 30 человек живут в городе нищенством. *Подавали они прошение* непременно члену, *чтобы у них отняли землю* (невыгодно держать ее), *но ответа ждуют уже два года*. Даже кабатчик ушел из Дурасовки, ибо дурасовцам пить не на что. *Хотели было переселиться* в кубанскую землю, да ста-

новой сказал, чтобы и думать о том не смели. «На вопрос мой, – говорит г-н Лудмер, – каким образом дурасовцы могли бы выйти из затруднительного положения, староста указал на *ревизию*, понимая ее, однако, в каком-то очень широком смысле, и на «малость землицы».

«Я заметил, – говорит г-н Лудмер, – что крестьяне, наказанные розгами, большею частию становились деспотами по отношению к женам и детям. Крестьянин Константинов за *неаккуратность* в погашении недоимок был высечен в волостном правлении; придя домой, он стал колотить жену, та убежала в поле, он верхом за ней мчится по полю, настигает ее, привязывает к дереву и начинает бить ногами, но ее спасают подоспевшие люди. Затем Константинов собирается уйти из деревни, требует, чтобы за ним следовала жена, но она беременна, на сносях, и может родить на дороге; муж, однако, никаких резонов не принимает. Константинова бросилась ко мне: ради бога помогите! Вызываю мужа, объясняю ему всю бесчеловечность его затеи, но он не поддается никаким убеждениям. Чуть не на другой день после разбирательства Константинов оставил постылуку деревню, взяв жену с собою».

И так вот уже две инстанции, низшая и средняя; не то же ли самое в *третьей*, высшей инстанции, в окружном суде, также со всех концов заваливаемом бесчисленным количеством крестьянских дел?

«В 1858 г., – читаем мы в № 5 «Юридического вестника»

1885 г.,³⁹ – осуждено архангельскими судами по уголовным преступлениям и проступкам 500 человек обоего пола, из них за кражи 230 человек.

В 1863 г. осуждено 669 ч., из них за кражи 262 ч.

«1873 ««898 ««за кражи 371 «

«1877 ««1056 ««за кражи 485 «

«1877 ««1056 ««за кражи 485 «

«1877 ««1056 ««за кражи 485 «

«1880 ««1587 ««за кражи 548 «

Из этой маленькой таблички видно, во-первых, что количество *преступлений* (!) возрастает с каждым годом, а во-вторых, что большую часть этих преступлений составляют кражи, покушение завладеть чужим имуществом. Откуда берутся эти люди, эти воры, армия которых растет с каждым годом? Автор заметки, из которой мы взяли вышеприведенные цифры, указывает и на весьма *заметную связь* количества преступлений в северном крае с *экономически-бытовой неурядицей* этого края. Автор на основании официальных источников (записка губернатора) *удостоверяет о сильном обнищании населения.*

Стоило бы мне перепечатать в этом очерке сведения о «делах», назначенных к слушанию в десяти, двадцати

³⁹ «В 1858 г., – читаем мы в № 5 «Юридического вестника» 1885 г....» – из статьи «Преступления в Северном крае» (в отделе «Разные известия и заметки»).

окружных судах, положим в течение настоящего сентября месяца, чтобы читатель убедился, что из двадцати «дел» пятнадцать *непрерменно о краже*. Правда, рядом со словом *кража* не всегда стоит слово *крестьянин*; теперь часто и очень часто рядом с этим словом связано и имя дворянина, разночинца, мещанина и т. д. Но *крестьянин* превосходит в покушениях на чужую собственность решительно все звания, сословия и состояния. Я не делаю этих перепечаток, потому что они заняли бы много места и утомили бы читателя однообразием бесконечного числа повторений. Пусть читатель, имеющий в руках какой-нибудь провинциальный листок и вообще любую из русских газет, прочтет в них «о делах, назначенных к слушанию» и представит себе, что по всей России, во всех окружных судах, точь-в-точь так же часто, как и в том листке, который он держит в руках, упоминается этот крестьянин, то уже лишенный прав, то еще только лишаемый их и обвиняемый непременно в краже, и он сам может представить себе огромные размеры этого недуга и количество рук, занятых его исцелением.

5

Так вот какая вавилонская башня «якобы дел» выросла на том самом месте, где добрые и простые люди могли бы жить и наполнять житницы. Простые люди «отсаживают» свое молодое поколение на новые земли, в новые дома, новые ульи, а «не-простые» отсаживают в тюрьмы, в чижовки, в холодные. И вся-то эта напраслина держит около себя «на своих харчах» сотни тысяч людей низшего, среднего и высшего образования, прикованных к этим тысячам напрасных «дел», существующих и питающихся ими.

И разве можно себе представить, чтобы *мысль* этих людей, их *совесть* действовали правильно, развивались здорово? Нет, в совести так называемой интеллигенции, толкущейся и зарабатывающей хлеб *около таких не простых, не настоящих дел*, – в совести ее также таится глубокая язва, точно так же как в народной жизни она таится в расстройстве труда; это – язва, отзывающаяся в семейных, общественных отношениях, и отзывающаяся, разумеется, также явлениями неблагоприятными; от этой язвы мучается не меньше мужика не знающий, как выбраться из этой жизни, и человек образованный.

VII. «Скучненько!»

1

Да! Скучненько-таки живется провинциальному обывателю, хотя он и не терпит «материальных недостатков».

«...Как ни тягостно общее настроение воронежцев, – читаем мы в № 15 газеты «Дон» за 1885 г., – но и тучи на небе не вечны, и болезни сердца не непрерывны; болезнь сердца также имеет свои схватки, но также дремливо успокаивается она. Очень редко встречаются в обществе лица, сияющие счастьем и весельем. Нытье литературы становится надоед-ным, новости дня постоянно грызут сердце рассказами о горе людском. Воровство, банкротства, крахи, убийства, растраты – разрастаются не по дням, а по часам. Ясно видно, что мы вошли в период хронических болезней, которые не лечатся так быстро. Если кто, счастливый, и не имеет своего личного горя, если вы не знаете горя семейного, не знаете неудачи в ваших делах, то, наверное, общее нытье также часто тяжелым гнетом тянет и ваше сердце. Вот почему с особой радостью мы приветствуем те счастливые минуты, когда общество оживает в ореоле восторга и когда оно так жадно захватывает на душу приятные впечатления. 2 февраля мы

слышали концерт г-ж Фострем⁴⁰ и Гиппиус⁴¹, и светлым облаком в ненастный день казался он обществу...»

Не знаю, можно ли характеризовать душевное настроение современного скучающего обывателя лучше, чем оно охарактеризовано в вышеприведенных строках, взятых нами из рецензии г-на С. Карпова о концерте госпож Гиппиус и Фострем. В характеристике этой есть все для того, чтобы составить себе понятие об общем тоне жизни скучающей интеллигенции, об общих условиях, в которых томится интеллигентная душа, и, наконец, о настоятельнейшей потребности – так ли, сяк ли – выйти куда-нибудь на свежий воздух из удушьяющей атмосферы жизни, в которой так трудно дышать. И не думайте, что под гнетом такой интеллигентной тоски находились бы только воронежцы, – вовсе нет. Провинциальная пресса самых разнообразных местностей России дает по части душевной тоски образованного общества совершенно однородный материал, и если я взял для материала настоящей заметки главным образом газету «Дон», то это только потому, что нахожу совершенно бесполезным рыться в куче газет для того, чтобы найти в них то самое, что я могу найти в какой-нибудь одной газете, перебирая ее номер за номером. И какую бы из современных провинциальных летописей ни взяли мы, с целью узнать, как живет на Руси человеку общества, везде мы найдем одно и то же: литература

⁴⁰ А. Фострем – известная тогда певица.

⁴¹ А. Гиппиус – пианистка.

надоела ему своим *нытьем*, окружающее надоело ему грабежами, крахами и другими безобразиями, и от всего этого он хочет забыться, очувствоваться – словом, как-нибудь и куда-нибудь уйти из той грязи, в которой он *должен* барахтаться и о которой к тому же беспрерывно *поет* несчастная литература.

Кстати сказать, литература эта не только «надоедает» своим нытьем той части интеллигенции, которая, проживая среди крахов, воровства, убийств, грабежей, жаждет, выражаясь словами г-на Карпова, ожить в *ореоле восторга*», но даже начинает кой-кого приводить и в *беишенство*. Недавно в «С.-Петербургских ведомостях» некто *Обыватель* выступил с целым рядом очерков против этой ноющей литературы, выступил с целью разгромить ее вдребезги. «Они, – говорит *Обыватель* в предисловии к своей «*Деревенской правде*», – столичные литераторы, с крайнею неохотой констатируют новые веяния; жаль им покончить с бывшею вакханалией, когда успех, лавровые венки и деньги доставались так легко, когда шалопайство шло впереди дела, а хлесткая фраза предпочиталась солидному труду. Что делать, господа литераторы! Нельзя же весь век ходить под масками и в костюмах! Поверьте, господа литераторы: *отрезвившееся общество* не станет ждать вашего *bon plaisir*⁴². Оно так жадно запросило *правды*, дела и знания, что если вы не сумеете от-

⁴² *Bon plaisir* (франц.) – здесь: личное усмотрение, произвол (идиомат.). Намек на концовку королевских указов: «*Tel est mon bon plaisir*».

ветить на этот запрос *тотчас же*, оно *безжалостно выкинет* вас за борт со всею вашею известностью, со всем вашим былым значением».

Из этого отрывка вы видите, до какой степени негодования довело «сотни тысяч обывателей» нытье современной литературы. Вы видите, что терпение обывателя истощено, и если *тотчас же* он не будет успокоен и ему не будет дан ответ на несуществующий с его стороны вопрос, так он начнет *выбрасывать за борт*, да притом еще и *безжалостно*, точно Стенька Разин. Ему мало выбросить за борт и утопить человека: он еще, как видите, хочет растиранить его, разможжить – словом, поступить *безжалостно* (вместо того чтобы просто не читать), – а за что? Правды ему, палачу, литература не говорила; она все время наряжалась в костюмы, надела на себя маску, сверх маски нахлобучила на голову лавровый венок и в таком виде стала тащить в свои карманы деньги. Ей хорошо (обыватель знает это тонко!) в масках-то, да в костюмах, да с деньгами в кармане мучить мирных обывателей, и вот она не хочет, кобенится говорить правду, поступать начистоту; то ли дело поступать бессовестно, измазать себе лицо сажей, чтобы не узнали, кто ты такой, да и хватать деньги.

Но обыватель уже вышел из терпения. Он так наголодался «по правде», что сам решается провозгласить ее и берется «за перо» не *ради денег*, а ради (опять-таки) той неприкрашенной *правды*, с которою так бесцеремонно обошлись гос-

пода цеховые литераторы. «Во имя правды, – вопиет он, – я решился на полную откровенность, чего бы это мне ни стоило!» «Не только безусловная правдивость, но даже самая мелочная точность и верность конкретным фактам будет соблюдена мною как святыня».

И прежде всего, во имя этой святыни, во имя точности и верности, во имя безусловной правды, для которой взбешенный неправдою гражданин решается пожертвовать всем («чего бы это мне ни стоило!»), он считает нужным, для «начатия» огромного предприятия, скрыться в псевдониме *Обыватель*. Ноющую литературу этот правдивый человек будет «дуть» поименно и без жалости, а сам, во имя сущей правды, будет прятаться в конуру псевдонима. «Я не подписываю своего имени потому, что это могло бы стеснить меня до известной степени, когда стану говорить о себе или о своих знакомых», – слышим мы из конуры и получаем обещание «назвать себя, свое место действия, своих героев», конечно в случае надобности и сомнений. Затем, вероятно в видах того же полнейшего беспристрастия, «полной откровенности», точности и верности, а также для того, чтобы не стеснять себя и вообще сделать так, чтобы «сущая правда» не очень висла на вороту самого «обывателя», последний создает некую чучелу, которая должна быть умной, соглашаться с мыслями обывателя и уяснять их примерами из собственного, чучельного, опыта. Создав эту якобы умную чучелу, обыватель дает ей имя Алексея Петровича, сажает за

завтрак и начинает говорить «сущую правду», причем, *как мы знаем*, даже мелочная *точность и верность конкретных фактов* должны бы соблюдаться как обывателем, так и чучелой как святыня. Но едва только обыватель и чучела раскрывают рты, чтобы провозгласить правду *во что бы то ни стало*, как немедленно же оказывается необходимым делать такое примечание: «оговариваюсь, что весь довольно длинный разговор, записанный в этой главе, я, разумеется, передаю *не совсем точно* (как было запомнить подлинные выражения?) и с необходимыми сокращениями; но все же *по возможности близко* к тому, что было сказано в действительности».

Таким образом, этот правдивый человек, измученный неправдой литературы, приготовляющийся выбрасывать за борт, и притом безжалостно, цеховых ее представителей, вопиющий о невозможности дольше терпеть эту неправду, решающийся *во что бы то ни стало* сорвать маски и костюмы и провозгласить сущую, безусловную правду, ставящий священною обязанностью точность и верность фактам (с которыми бесцеремонно обошлась цеховая литература), – прежде всего укрывается в псевдоним, в подворотню и конуру, выставляет вместо себя чучелу и, принимая наивный вид, «оговаривается», что, «*разумеется*», он не совсем *точно* передает то, что говорили они с чучелой, – ведь как же запомнить? Наконец, необходимые сокращения (а «чего бы то ни стоило?»)... А ведь какие злые эти *обыватели!* За борт, говорит, да еще без жалости!..

Но поверим ему и чучеле, что они разговаривают *по возможности близко* к тому, что было сказано обывателем и чучелой в действительности, и послушаем, какая такая у них «сущая правда», которая воспиталась в них семнадцатилетним безвыездным пребыванием в деревне.

– Хотя у нас кричат иные, будто у нас народ преисполнен какими-то первобытными стихийными совершенствами, – говорит якобы умная и опытная в деревенской жизни чучела, – совершенствами, перед которыми необходимо умильнуться *с коленопреклонением*, но на деле *даже лакейская цивилизация выработала* из дворового тип гораздо повыше черносошника. Оттого крестьяне бедствуют с землею, доставшеюся *наполовину даром*, а дворовые, прогнанные из насиженных мест ни с чем, по большей части успели устроиться очень порядочно. Оттого между дворовыми вы встретите мастеров, управляющих, торгашей, огородников, фельдшеров – словом, сельскую интеллигенцию, оттого и на свет божий они смотрят несколько иными глазами, чем крестьяне, и к общественному бедствию (пожар в деревне) отнеслись иначе.

– Помилуйте! – возопили горожане (чучелы, только не умные, а обязанные говорить глупости) чуть не хором и даже с некоторым священным ужасом. – Что вы рассказываете? Кто же не знает дворовых? Это или оборванные пьяницы, повара и лакеи, или кабатчики, писаря, аблакаты – словом, деревенские пиявки, люди совсем без совести и сердца, можно

сказать – озверелые.

Умная чучела, под названием Алексей Петрович, *только улыбнулась*.

– Однако из этих людей *без совести и сердца* выходили все те нянюшки и дядьки, доверенные, камердинеры и буфетчики – словом, вся та ветхозаветная крепостная! прислуга, о которой и вы, может быть, слышали кое-что похвальное.

– Скажите, – обратился я (обыватель) к умной чучеле, – чему же именно вы приписываете такое сравнительно высшее развитие дворовых? Неужто только их большей близости к господам? Сколько я знаю, бывлые помещики драли своих слуг на конюшне, но лекций о нравственности им не читали.

– Смейтесь! – отвечала умная чучела, – а все-таки *именно близость* к господам сделала многое. Никакое столкновение с цивилизацией не пропадает даже при самых неблагоприятных условиях (вроде «на конюшню!»).

А черносотины?

«Крестьянская баба относится к своему мужу с величайшим равнодушием. *Каждая из них, буквально каждая, готова гулять от мужа с кем угодно, даже и на минуту не призадумавшись*»⁴³. С этой стороны циничность дошла до *pes plus ultra*⁴⁴. Согласитесь, что во всем этом более озверелости, чем добывания средств к жизни кабацким или аб-

⁴³ Перепечатка статьи *Обывателя* в «Орловском вестнике», № 266.

⁴⁴ ...до *pes plus ultra* (лат.) – до последней степени.

лакатским промыслом. Притом же крестьяне и сами были бы непрочь от подобных занятий, но смотрят на них как на недостижимые, хотя и розовые мечтания.

Таким образом оказывается, что бывшие крепостные мужики черносотшники, вскормившие и вспоившие этих обывателей, потому ниже бывших дворовых, что последние были близки к господам, хотя бы и сталкивались с цивилизацией при неблагоприятных условиях, в конюшне, и потому, что черносотшники не сталкивались с господами, а только платили им деньги, они загрубели и зазверели до того, что *буквально каждая женщина готова гулять от мужа с кем угодно, даже ни на минуту не призадумавшись*, а мужики *бедствуют с землею, наполовину доставшеюся им даром, причем каждый питает недостижимые мысли о том, что бы быть кабатчиком.*

К чему клонится вся эта «правда», мы не знаем. Но в том же самом «Орловском вестнике», где начата перепечатка «Деревенской правды», недавно был опубликован такой факт. Красивая крестьянка почему-то должна была переночевать ночь в волостном правлении (Мценского уезда). Волостной писарь и помощник писаря, всё люди, соприкасавшиеся с цивилизацией и, вероятно, с такими господами, которые за *святую* правду выдают мнение, что каждая, *буквально каждая*, черносотшная крестьянка-женщина *готова гулять от мужа с кем угодно, ни на минуту даже не призадумавшись*, – пристали к этой женщине с известными пред-

ложениями, но она оказала такое упорное сопротивление, что лакейская цивилизация, в лице писаря и его помощника, должна была прибегнуть к силе, и дело об изнасиловании этой женщины скоро будет слушаться в окружном суде.

Впрочем, вовсе не в защиту современной литературы от умных и глупых «чучел», выводимых обывателем, завел я речь о его диковинной правде. Грубость и «храп» этого обывателя на литературу доказывают только, что он плохо воспитан, что жил вдали от влияния благовоспитанного общества, что вообще ему чужда близость к «господам», иначе он был бы вежлив так же, как и дворовый человек. Нельзя даже сердиться и на то, что этот поклонник «лакейской цивилизации» выдает себя за поклонника Тургенева, как известно, не весьма любезно относившегося к цивилизирующему влиянию близости к мужику конюшенных цивилизаторов, и присоседивается к светлому имени Льва Толстого, который так внимательно относится именно к этой черносошной душе. Нет, все это не заслуживает ни особенного внимания, ни, тем паче, негодования. Но внимания заслуживает та злоба, та ожесточившаяся печенка семнадцать лет прокисающего в деревенской берлоге обывателя, с которыми он начинает выть о правде. Семнадцать лет он лежал там, на дне своего логова, хозяйничал и помалчивал; но, наконец, вышел из терпения, ожесточился на неправду, почувствовал потребность выйти из какой-то тины и путаницы жизни, которую он так долго к себе прилаживал и к которой прилаживался сам, и вот он,

блуждая глазами и ища врага, как зверь бросился на литературу с засученными рукавами и со стиснутыми кулаками и заревел:

– Ежели *тотчас* не будет ответа, убью. Без всякой жалости! Ответа мне! Сейчас!.. За борт!.. Довольно!

Несчастный требует ответа, не задавая даже вопроса. Ему нужно чего-то, нужно вообще выхода из той продолжительнейшей лжи, среди которой он семнадцать лет сумел терпеливо просуществовать, ему нужно выйти на свет, вообще куда-то выйти, к чему-то не такому гадкому, среди чего он мог только взбелениться, и со зла и с одичалости он хватается за первое «приятное», что мелькнуло в его отяжелевшем от бездействия мысли мозгу, – за лакейскую цивилизацию...

«Драли, пороли, а все-таки было хорошо!»

2

Да, всем нам нужно, чтобы было, наконец, что-нибудь «хорошо». Одним кажется, что выход из теперешнего худого – в благах лакейской цивилизации (таких, по словам обывателя, *сотни тысяч*), другим – в чем-нибудь другом; но главное, в чем думает найти успокоение *огромнейшее большинство русской скучающей* интеллигенции, – это несомненно область искусства, низведенного на степень развлечения.

Надобно действительно до невозможности истомиться от нытья литературы, от «грызущих сердце новостей дня» («Дон», № 65), от всех этих краж, растрат, чтобы с таким искреннейшим благоговением относиться к малейшим минутам наслаждения, доставляемого искусством, как это мы видим в современном скучающем провинциале.

Посмотрите, например, как воспет концерт 2 февраля, речь о котором прервана была в начале этой статейки для разговоров о взбеленившемся обывателе. Высказав, как уже известно читателю, ту адскую душевную тоску, которая угнетает «сердце» людей, «даже и не имеющих личного горя», и объяснив, что именно благодаря этому непрерывному гнету душевному скучающий обыватель «с особенною радостью приветствует те счастливые минуты, когда общество оживает в ореоле восторга», автор переходит к концерту 2 февраля и изображает свои впечатления в таких выражениях:

«Светлым облаком в ненастный день казался он (концерт) обществу. Легкость и грация в пении, в волшебных песнях госпожи Фострем во всех сердцах слушателей не давала места для обычной грусти и печали. И кажется, те чудные песни соловьиные, *как силуэт* (?), долго будут манить человека в мир лучший, в мир красоты и поэзии. Голос такой игриво-легкий, металлически-чистый пленял слушателей быстротой грациозных прыжков, которые исполнялись с уверенностью горной газели. Огневая сила очаровательного звука, сразу и так глубоко потрясающего сердце, сменялась быстро, с таким эфирно-легким отзвуком, едва заметно брошенным в далекую даль; но эта, так сказать, тень звука ясно слышалась, она схватывалась на лету и так волшебной наркотически умиротворяла сердце». «Если нам, – говорит далее автор, – иногда и слышалось в пении г-жи Фострем вместо «соловей» – «солофей», то живой голос дивной певицы все же был очаровательнее и богаче самой песни певца любви – соловья!» И затем, в поучение местным певцам и певицам, имеющим обыкновение соваться с своими музыкальными стремлениями, «как рак с клешней», туда, куда и конь с копытом не пробежит, – автор говорит: «Как приятно заметить, что ни в одной ноте низкого регистра (у г-жи Фострем) не сказалось *мужской ноты*, которые так нравятся нашим провинциальным певицам. Для человека, понимающего музыку, весьма противны те *петушиные ноты*, которыми так часто угощают нас, совсем не понимая, что для женщины петушиные ноты

вовсе не к лицу. А между тем женская любовь к ним (к петушиным нотам) чем дальше, тем заметнее становится...» Вообще же, «в ряду серьезных пьес концерта в общем было бы эффектнее поставить *игриво-легкую* пьесу (вместо рапсодии Листа № 12), которая могла бы быть воспринята более сознательно, – *такая пьеса вернее оживила бы сердца!*»

В том же № 16 «Дона» и о том же самом концерте г-жи Фострем помещена и другая восторженная рецензия, так что г-жа Фострем, ее голос, ее биография, ее происхождение, манера петь, даже рост – все это обследовано, мало сказать, с восторгом, но еще и с тщательностью, с замечательной внимательностью к малейшим характерным чертам певицы, доставившей истомившимся скукою воронежцам минуты «оживления в ореоле восторга».

И не думайте, что только для воронежцев дороги эти приятные *минуты* (в буквальном смысле). Нет. Если я и завел речь об этих минутах, то только потому, что жажда найти облегчение от современной тяготы жизни в области искусства – явление решительно повсеместное. Надо жить и дышать, и обильный материал провинциальной прессы дает вам полную возможность видеть, что область искусства как искусства и искусства как увеселения – есть единственная область, где скучающий интеллигент (всякого звания и состояния) чувствует себя *совершенно свободным*, говорит и думает не стесняясь, критикует, обсуждает, входит во всевозможные тонкости и мелочи исполнения – словом, чув-

ствуует себя полным хозяином. Не только губернские и уездные города «жаждут» концертов известных драматических артистов и вообще всяких увеселительных представлений⁴⁵, но даже и такие близкие, повидимому, к деревне обывательские места, как станицы, и там искусство начинает играть далеко не последнюю роль. Из станицы Каменской («Дон», № 63) пишут: «В это лето в нашу станицу прибыла, кажется, *третья* труппа, одна за другой, и только последняя из них оказалась удовлетворительной». А в одном из следующих номеров газеты помещено самое подробнейшее описание спектаклей «удовлетворительной» труппы, с самою точною оценкой игры буквально каждого артиста, с указанием, кто заслуживает похвалы за «добросовестное» исполнение и кто не заслуживает. В такого рода трактатах об искусстве, помещаемых непременно в каждом номере любой провинциальной газеты, внимательность и зоркость зрителя доходят иногда до поразительной тщательности: на только разберут игру, но и брюки окритикуют и укажут, какие именно следовало бы надеть; у г-на Иванова был на голове такой

⁴⁵ В № 248 «Орловского вестника» напечатано: «В ряду развлечений, выпавших на долю орловской публики в последнее время, как нечто совершенно оригинальное и встречающееся не часто в провинции, следует отметить вчерашнее представление американской труппы. В особенности хороши были упражнения (под названием) *голова на винту*. Г-н Клеменс производит с своей головой такие эволюции, словно она у него чужая и лишь привинчена к туловищу: он совершенно свободно *мотает* ею во все стороны и ворочает вокруг шеи, так что можно подумать, будто шейные позвонки у него отсутствуют. Спектакль, назначенный завтра, вероятно привлечет еще более зрителей».

парик, который уничтожал иллюзию; г-н Ларин по толстоте своей не подходит к роли Чацкого, и надо бы взять Кузьмина, так как он будет пожиже корпусом. Иногда попадаются такие номера газеты, что, кроме известия о двух-трех несчастиях, вроде убийства или пожара, весь остальной номер наполнен рецензиями о спектаклях в губернском городе и корреспонденциями о том же предмете из уездов.

Очевидно, что музыка, пение, театр, даже просто гулянье с иллюминацией или представление человека, который совершенно свободно мотает головой во все стороны, суть единственные источники какого бы то ни было удовольствия, отдохновения для скучающей всех сортов интеллигентной публики, выбирающей из разных сортов удовольствий то, которое соответствует ее вкусу, развитию, карману. Наиболее щепетильный сорт интеллигенции постоянно стремится завести какой-нибудь «кружок», где бы наслаждение музыкой, пением, драматическим искусством было чище, изолированнее от смешанной толпы. Все хотят устроить, среди безобразия и мусора современной действительности, что-нибудь уютное, укромное, какой-нибудь уголок, куда бы не доносилось уличное хрюканье, но что-то все как будто не выходит. Не знаю, осуществились ли надежды воронежцев, что военный клуб «сохранит» вполне семейный характер даже и во внешней обстановке, не загромождая зала рядами стульев, а оставляя все по-семейному – залы, гостиные и т. д. «Нужно отдать справедливость (читаем мы в

№ 19 газеты «Дон») военной корпорации: она умеет не ску-
чать в своем кружке, умеет внести в свои удовольствия и
мысль и душу, и в лице своих участников имеет возможность
блеснуть знанием и талантом». Не знаю, осуществились ли
надежды воронежцев, ожидавших от этих вечеров «много
оригинальной прелести, оживленное времяпрепровождение
и разумное эстетическое наслаждение...» Конечно, было бы
хорошо, если бы клуб удержался на высоте уюта и изыска-
ства. Но ведь опыты в этом роде уже были. Нечто подобное
предпринимал уже «клуб благородного собрания, гостепри-
имно открывший свои двери два года тому назад для тако-
го рода вечеров, *но из этого ничего не вышло*: после двух-
трех малолюдных семейных вечеров нового типа их смени-
ли обыкновенные специальные вечера...» Опыты такого ро-
да были везде, и везде, начавшись за здравие, постепенно
достигли необходимости пропеть своей затее «за упокой».
Сначала по-семейному, Шопен, Лист, декламация и т. д., а
потом, глядишь, где-то и пробка хлопнула, забулькало что-
то, а там и винтик завилили, и понесло по семейному поме-
щению запахом пива, водки и *цыгар*. Пробовали, а все что-
то не выходит, чтобы уж совершенно изящное было и «осве-
жало душу и сердце».

3

И я думаю, что долго, долго еще не выйдет ничего «в самом деле успокоительного и освежающего». Нет! ни очаровательному смычку г-жи Терезины Туа, ни восхитительно-му голосу г-жи Фострем не стереть и не изгладить с души истинно интеллигентного и совестливого русского человека того пятна и язвы, которую он не может не чувствовать ежеминутно, зная, что он виноват перед «человеком». По тем или другим причинам совесть его должна бездействовать, и забота о справедливых человеческих отношениях – забота в особенности обязательная для него, как для интеллигентного человека, – не реализуется им ни в какой существенной форме. Она молчит, камнем лежит у него на душе, а жизнь человеческая, оставленная на произвол случая, зарастает бурьяном, гниет и душит запахами разложения.

На минуту, в буквальном смысле, смычок Терезины Туа может еще в виноватом интеллигентном человеке заглушить ощущение неопрятного душевного состояния и оживить неопратно живущую совесть («в ореоле восторга»), но раз кончился концерт и виноватый интеллигент вышел на улицу, так его и обдало настоящим смрадом замусоренной действительности. В № 85 той же самой газеты «Дон» напечатана заметка репортера, озаглавленная «От угла до угла». Прочитайте и скажите, что это такое?

«Как-то на днях, – пишет он, – я ночью возвращался по Дворянской. Слышу впереди меня крики, ругань. Дохожу до конторы и вижу компанию, человек в пятнадцать, не то мастеровых, не то из *ночных рабочих*. Идут они под конвоем полицейских. Я прошел дальше; ко мне подходит, вероятно один из отставших, измазанный, растрепанный субъект. Плачет навзрыд.

«– Что с тобой? – спрашиваю.

«– Побили, вот как, смерть моя! И папеньку взяли в участок.

«– А ты чего же отстал?

«– Отстал! – передразнил он меня. – Не взяли, вот и отстал. Говорил: папенька, возьми! А он мне говорит: «провалявай ты к чорту», а он мне отец!

«– Где же вас схватили?

«– У Петровского плаца. Нас же побили и нас же – в участок. Нет, почему меня не взяли? Па-а-а-пенька! – завопил он во всю глотку и, шатаясь, побрел дальше.

«Не доходя до угла Вяхиревской гостиницы – это было тоже не так давно, – я возвращался с купанья; вижу, из-за угла выходит приземистый, оборванный, босой, с едва прикрытою грудью человек. Он слегка пошатывается, но молчит. Всклопоченные волосы, ужасная наружность такого человека говорят и об его *промысле* и об его жизни, и, встретившись с ним, не обойдешь, а от изумления остолбенеешь.

«Немного дальше, у решетки парка, *лежит какая-то*

масса и орет во всю глотку:

«– На земле мой дух унылый!

«– Друг мой, вставай! – говорит сосед из его же друзей. –
Ведь плохо нам будет: препроводят куда следует.

«– На земле мой дух унылый!

«– Дьявол ты этакой! Тебе говорят, вставай!

«– На земле мой дух...

«Я пошел дальше.

«Встречаю высокую, плечистую женщину, прикрытую только до колен, с голыми руками и шеей, скрытой под какою-то тряпкой. Голова не то завязана, не то покрыта; одни глаза виднеются, и что за глаза! Не дай господи!

«Иду еще дальше.

«– Прохожий, а прохожий! Ты думаешь, я пьян? Нет, врешь, пьян тот, кто лежит на земле, а сам кричит «упаду!» Вот это пьян! – внушительно говорит тоже внушительной наружности фигура, в одной рубаше, с бутылкой в руке, которую (бутылкой) она махала с намерением, как ничего не содержащую, разбить о садовую решетку.

«Наконец дохожу до другого угла.

«Тут приютилась парочка, кавалер и дама. Что за кавалер – не заметил. Дама же – прехарактерный тип: испитое, какое-то обрюзглое, изжившее лицо с оливковым цветом кожи; губы обвислые, толстые; щеки ввалились, глаза сверкали, но не огнем, а каким-то потухающим, как бы сквозь пелену, светом. Такие глаза бывают у горячечных больных.

«Да, – заканчивает автор, – на расстоянии от угла до угла, на этом небольшом пространстве, целый калейдоскоп типов из жизни отребья человечества, из этой жалкой и вместе ужасной жизни».

А вот и еще сценка.

«Присутствуя 12 августа, – пишет г. Калиновский в «Волжско-Донском листке», № 100, – во время похорон своего квартирного хозяина в Вознесенской церкви, я был свидетелем следующих неприличных сцен: в церкви между молящимися было много уличных мальчишек и девочек в возрасте от 10 до 12 лет, которые с самого начала обедни занимались только хихиканьем, *беганием по церкви и игрой в прятки*. Затем, в половине обедни, откуда-то появился в церкви молодой парень с видом идиота, на которого накинулись мальчишки и девчонки и стали его дразнить всячески. Выведенный из терпения, идиот с сжатыми кулаками бросился на мальчишек – те врассыпную, стараясь спрятаться между молящимися. Идиот избирает новое место, около него снова собираются мальчишки и снова проделывают ту же сцену. Наконец один из мальчишек, надев на голову шапку, вышел на середину церкви и стал перед покойником. Но стоявший около гроба дьякон снял с него шапку и сказал что-то ему на ухо, после чего мальчишка исчез. Разве подобные сцены не *возмущают* религиозного чувства богомольцев?» – спрашивает г. Калиновский. «Разумеется, возмущают, – заявляет от себя редакция «Листка»: – *но что поде-*

лаешь против распущенности наших уличных мальчишек?!» (эти знаки поставлены редакцией). Как видите, сцены такие, что в пору хоть бы и Лондону, а у нас уж такими сценами и Воронежи и Царицыны занимаются, переполненные скучающею публикой. Дети, которые играют в церкви в прятки, которые бегают по ней, как по площади, которые ходят по церкви в шапках, – это дети удивительные, действительно уличные, беспризорные; вы видите, что около них нет человека, который бы научил их самым элементарным понятиям вроде того, что в церкви «боженька» и что в церкви стоять надо без шапок. Это совершенно дикие человечки, неизвестно кем рожденные, чем питающиеся и где проводящие время. Такое явление, разумеется, *возмущает* обывателя, но на беду его только возмущает. Возмутит, оскорбит его, заставит *обойти*, посторониться, даже спрятаться за угол и считать себя счастливым, что добрался до дому или до клубного светлого и теплого зала, где хотя музыка-то развлечет и облегчит. А ведь все-то это возмутительное – большой, огромный общественный вопрос, вопрос о пролетариате, о человеке, доведённом до одичалого состояния мальчишки, или испитой полуголой женщины, или *«какой-то»* пьяной ревушей *массы*», валяющейся на улице. Я очень хорошо знаю, что этот большой вопрос – не царицынский и не воронежский, а всенародный и даже всемирный; но ведь интеллигентный человек именно и воспитывается в таких всемирных-то вопросах; ему обязательно, волей-неволей, жить под давлением их

– не как возмутительных только явлений, а как огромных задач, налагаемых на него его особенным интеллигентным образованием и положением. Если же *такие* вопросы почему бы то ни было выходят из круга его душевной деятельности, оказываются для нее невозможными, то решительно нельзя понять, чем бы он мог жить духовно и какова же тогда будет вообще-то жизнь общественная, если *такие* вопросы не будут подлежать заботам интеллигенции.

А они и действительно не подлежат, и жизнь скучающего интеллигента проходит в том, что он *возмущается* улицей да успокаивается кое-как в концертах, в клубах – словом, мается, ждет чего-то и, как ошеломленный, встряхивает головой, когда не подлежащая его деятельному вниманию жизнь ошеломит его каким-нибудь ужасающим явлением: убийством, грабежом и вообще какую-нибудь грандиознейшею гадостью или подлостью. В таких случаях обыватель как бы приходит в себя: «да куда же это будет?» И нужно отдать честь обывателю, что в такие минуты он искренно возмущается ошеломившим его злом, страстно высказывает, иногда массовыми движениями, свои симпатии и жажду выразить свои добрые, долго бездействовавшие, не имевшие практики побуждения. В Казани самоубийство несчастной купеческой дочери Латышевой, застрелившейся в день свадьбы, собирает на похороны ее всю Казань, образованную и необразованную, и вся эта толпа идет на могилу покойной, протестуя против насилия. В Новгороде, во время процесса г-жи Феопемтовой,

обвиняемой в подстрекательстве к убийству и сожжению мужа, толпы народа, убежденные в ее виновности, сплошную массу стояли около окружного суда, ожидая приговора, и находились в таком настроении, что обвиняемую пришлось увезти из суда задним ходом и в мужской шинели. Свирепый поступок турка-хозяина в Кременчуге с рабочим поднимает на ноги весь город. В Воронеже происходит убийство трех женщин, и весь город идет за их прахом на кладбище; даже в одной из деревень Воронежской губернии убитую неповинно женщину провожала вся деревня с возможною для нее торжественностью.

Такие общественные порывы, без всякого сомнения, благородны; но какие нужны ужасные, ошеломляющие неожиданности, чтобы в ослабевшей, притерпевшейся к окружающему злу, общественной душе пробудились те движения совести, нормальное развитие и течение которых обязательны для всякого человека и для всякого человеческого общества, желающего ощущать себя живым и живущим. А вот нормального-то развития впечатлительности общественной души к худым и хорошим влияниям общественной жизни и не замечается теперь в скучающем интеллигентном обществе. Скучающая интеллигенция привыкла к тому, что относительно «жгучих вопросов жизни» можно ограничиваться либо только отвращением – так противна форма, в которой они выражаются на улице, – или только негодованием, либо, осторожно их обходить, не заражая себя их дурным за-

пахом, либо, наконец, *отделяться* от них мертвым формализмом.

Убивают, как я упомянул выше, в г. Воронеже сразу трех женщин – убивают вечером в семь часов, почти на глазах людей, и, убив, обворовывают квартиру убитых. Город ошеломлен, испуган, возмущен, а те, кому ведать надлежит, *энергично* принялись за искоренение давно назревавшего зла. По всем ночлежным домам, по всем закоулкам, трущобам начались ночные облавы, причем наловлена масса бездомного темного люда. В короткое время нахватав 553 человека, скупающая интеллигенция выслала 223 человека на место родины, а 312 человек передала местному мещанскому обществу, как доказавших свою *самоличность*. Этого слова «самоличность» оказалось весьма достаточным для того, чтобы бездомных воронежских мещан возвратить опять той же бездомности, в которой они и до сего находились. «Переданы мещанскому обществу» – фраза, как будто что-то означающая. Сначала взяли, а потом передали кому-то; в сущности же бездомный как был бездомным, так им и остался вплоть до другой какой-нибудь потрясающей неожиданности.

Но даже и этот способ борьбы со злом обрадовал измаявшихся обывателей, потому что месяца через два после начала облавы на бродяг в № 74 газеты «Дон» появилась следующая заметка: «Несколько месяцев тому назад наша полиция выказала большую энергию при розыске негодяев всяко-

го рода и *спровадила* их из города гораздо более тысячи. За это ей большое спасибо. Но еще большее спасибо заслужила бы она, если бы обратила свое энергичное внимание и на других паразитов общества – проституток. Число явных проституток в последнее время *увеличилось ужасно*. Множество грязных притонов наполнено ими, да и все общественные сады не обходятся без них. Но сугубый вред приносит тайная проституция. У нас в городе существуют целые гаремы, ютятся под скромными вывесками: «пивная лавка» или «портерная», число же последних довольно солидно. В интересах нравственности и здоровья не мешало бы взяться за искоренение этого ужасного зла».

Итак, видите, какие кучи человеческого мусора накопились в богоспасаемых весях. Ведь это всё люди, ведь это человеческий мусор – мусор из живых существ! Что же с ним делать и как быть? На это выработаны скучающею публикой два ответа: уйти от всей этой гадости и мучительных впечатлений, которые она производит, *в концерт в забыться в ореоле восторга* или же «передать на руки мещанского общества, как доказавших свою самоличность», а еще лучше – «спровадить».

И, несмотря на обилие музыкальных вечеров, с одной стороны, и «энергию спровоживаний» – с другой, ни спровоживающий ради «успокоения», ни спровожаемые одинаково ничего существенного в результате не получают. Простой коренной обыватель, живущий собственными трудами, до-

шел до того, что если у него украдут шубу или разломают сундук, так он предпочитает обратиться за похищенным прямо к вору, входит в сношения непосредственно с похитителем, не довольствуясь тем, что похититель, энергически взятый в темную, энергически передан обществу, как доказавший «самоличность».

«Выбрав время, – рассказывает практический обыватель в № 17 «Дона», – пришел я к его (вора) немудрящему домику; оглянул кругом – ни единой души нет: никто, значит, меня не заприметил. Через сенцы вошел я в полутемную хатенку. По всему было видно, что здесь перед моим приходом шла безобразная попойка. Хотел я, по своему обыкновению, помолиться на икону, но таковой не было. Тут я увидел хозяина хатенки. Это был дюжий детина с широкою грудью, с здоровенными руками, одутлым лицом, жгучими глазами и черными всключенными волосами на голове. *«Что скажешь, любезный?»* – спросил вор и, видя испуг обывателя, прибавил: – не бойся! Я не такой дурак, чтоб ограбить тебя в моем доме, тогда бы я мог быть пойман с поличным. А вот присядь-ка, а я тем временем *сам расскажу, зачем ты пришел ко мне.* Я с одним из товарищей покрал вещи-то у тебя... Что делать! – прибавил он нахально, – надобно же промышлять чем-нибудь, чтобы прожить век свой и не помереть голодной смертью». Затем он стал торговаться, оценили вещи в известную сумму, сошлись, ударили по рукам, условились «по честности», как и когда возвратить вещи и насчет того,

чтобы «не выдавать» и т. д. И вор все исполнил, как обещал, а обыватель, получивший свои вещи назад, нашел нужным промолчать о воре – в благодарность за доброе дело. Таким образом, вор здоров и невредим находится на руках общества и «доказал свою самоличность».

Не лучшие результаты получаются и от способа помощью успокоения и увеселения разгонять тоску действительности. Несмотря на обилие театров, музыкальных, вокальных и танцевальных вечеров и всевозможных гуляний и развлечений, иногда на скучающую интеллигенцию нападает такая тоска, что хоть топись. «Вечер первого августа в городском саду, – читаем мы в хронике все той же газеты «Дон», – отличался какою-то *особенною вялостью и угнетением духа*. В свое время начал играть оркестр, хор певчих пел, иллюминация зажглась по главным и второстепенным аллеям сада также своевременно; *но что-то томительное сдавливало сердце*. Г-н Киндель (капельмейстер) усердно откалывал марш за маршем, но публика как будто не замечала этих маршей и «сновала» по аллеям сада с страшным сплином; даже молодежь – и та *не взвизгивала по обыкновению* своим беззаботным говором и смехом, *а понуря голову* молчаливо только *шагала* по аллеям городского сада. Откуда такая тоска? Откуда такая подавленность жизни?»

Неизвестно, чем бы кончился этот несчастный вечер, если бы совершенная случайность, наконец, не оживила измучившуюся публику.

«Но, – продолжает г-н репортер, – и под этой вялой обывательской жизнью вспыхивает *огонек* эксцентричности: говорят, в конце гулянья одна из «юниц» устроила пикантный сюрприз на тему сюжета, взятого напрокат из Эрмитажа: «Смотрите здесь, смотрите там!»

Хорошо, что хоть юница выручила. А то от скуки вот еще как развлекаются. Описывая один воронежский пожар, г-н очевидец пишет («Дон», № 87): «Я, как очевидец этого пожара, заметил, что на пожар явилось немало лиц *показать* просто *свою удачу: подбросить повыше* какую-нибудь тяжеловесную вещь или хватить венским стулом в раму так, чтобы все превратилось в дребезги». Вот и дети что-то скучают, и многие просто бегут неведомо куда; четыре гимназиста уплыли тайком от родителей из Ельца – уплыли странствовать; два мальчика ушли из воронежского хора – тоже странствовать; взятые, в ожидании справок, в полицейское управление, они, по словам корреспондента, «играли здесь и пели, *как птички*».

Да, скучненько-таки живется на белом свете! Но пусть читатель не унывает и не сокрушается – есть на этом белом свете кое-что и хорошее.

«К богатому магазину⁴⁶ с одной стороны ползет с помощью рук и коленок безногий нищий, с другой подходят две бабы с пустыми сумками и с ними мальчонка лет пяти в оборванном, длинном не по росту кафтанишке, верно с чужого плеча.

«– Сотворите милостыньку, Христа ради! – робко произносят бабы в один голос.

«– Господь подаст! – слышится им в ответ из магазина.

«Нищенки печально отходят.

«– «Не прогневайся» да «бог подаст», только и слышишь целый день, – жалуется одна из них. – Чисто с голоду околелешь, по миру ходючи. Господи-батюшка, али нет креста на людях, али нет доброй христианской души на людях?

«– Бог не без милости, а свет не без добрых людей! – раздался позади них дрожащий голос.

«Обернувшись, они увидели калеку.

«– Вы откуда, бабоньки?

«– Из Сибири, родимый! от общества были, высланы!

«Продолжая их расспрашивать, нищий снял из-за плеч свою суму, достал оттуда три куска белого хлеба, три яблока и разделил между тремя собратами по несчастью, а ребенку

⁴⁶ «к богатому магазину...» – цитата из «Волжско-Донского листка», 1885, № 100, 23 августа.

сверх того сунул еще что-то в ручонку. Бабы, принимая от калеки милостыню, набожно крестились и со слезами благодарили своего благодетеля» («Волжско-Донской листок», 23 августа).

Так вот, стало быть, не всегда решение жгучих вопросов ограничивается на Руси «спроваживанием» их долой с глаз или удостоверением в «самоличности» бездомного человека; делается кое-что по части жгучих вопросов, неразрешимость которых только мучает и томит скучающую интеллигенцию, – делается нечто действительно существенное, реальное против язвы пролетариата, начинающегося в расстройстве хозяйственных народных порядков, против пьянства, воровства, грабежа и других язв, вытекающих из этого расстройства и разъедающих деревни и города. *Сам* народ, на средства, добытые из собственной нищенской суммы, совершает такое огромное, трудное, исполненное великого подвига движение, как переселение и колонизация. С другой стороны, тот же *сам* народ совершает, опять-таки на свой страх, на свои нищенские средства другое важное и огромное дело духовного совершенствования, стремится выработать принципы благообразных человеческих отношений. И вот эти-то народные дела, совершаемые народом во имя благообразия и справедливости человеческих отношений, совершаемые «на самом деле», к глубокому сожалению совершаются без всякого участия тоскующей интеллигенции. Жизнь есть, но, к сожалению, вовсе не там, где г-н Киндель,

откалывающий марш за маршем, не может разогнать тоску даже у молодежи, *шагающей понуря голову.*

VIII. Мелкие агенты крупных предприятий⁴⁷

1

...Урожай восемьдесят седьмого года на всем протяжении Волги и Дона скопил массу всякого покупающего и продающего люда. Масса мелких агентов от разных крупных фирм для скупки хлеба, шерсти и других продуктов, которыми изобилуют приволжские и придонские степи в несметном количестве, кишат повсюду: на пароходах, железных дорогах, во всяком мало-мальски бойком торговом месте, во всякой станице, расположенной в удобном для передвижения товаров месте, не говоря о больших торговых, близких к морю городах, где от мелких «агентов» всевозможного рода крупных предприятий положительно нет ни прохода, ни проезда. За скупщиками местного сырья следом идет и продавец всякого нужного крестьянину товара; ярмарки повсеместны; проездом мимо больших станиц и сел вы видите всегда, что либо приготавливаются строить балаганы для ярмарки, либо уж ломают их, чтобы перевозить в другое место, либо видите ярмарку в полном разгаре, с балаганами, парусин-

⁴⁷ Из путевых заметок о поездке по Дону в 1887 году.

ными шалашами, с трактирами, смрад из которых достигает даже до парохода, с разными фокусниками, шарманками, девицей «геркулеской», показывающей за три копейки свои чрезвычайные формы. Эта покупающая и продающая масса людей, конечно, требует массы черного, рабочего народа, который таскает кули, тюки, ящики, возит и носит. И черно-рабочим народом переполнены также все пристани, все пароходы, железные дороги и опять-таки крупные торговые города – до чрезвычайности.

«Мелкий агент крупного предприятия» и «чернорабочий», появившиеся на Руси одновременно с развитием крупных торговых, промышленных операций, причем первых появились сотни тысяч, а вторых – миллионы, совершенно изменили как внешний вид, так и внутренний смысл и вообще весь строй и тон жизни наших сел, деревень и городов, и изменили их не в привлекательном смысле. В отношении внешней непривлекательности села, деревни и города чрезвычайно много потеряли от наплыва рабочих масс, этих людей без сапог, без шапок, в потных рваных рубахах, а главное – от этого небывалого прежде неустанного ихнего труда, с перевозкой, переноской всевозможного рода товаров и грузов. Этот вечный стон, оханье, эти напряженные вопли для облегчения тяжести, переполняющие изо дня в день воздух торговых мест, не терзали вас в такой степени в прежние времена; теперь же от рабочей толпы, снующей взад и вперед, от грома этих ломовых дрог, от обилия этих тюков, бочек, ящи-

ков, полос гремящего железа и т. д. пропало всякое благообразие улицы, даже всякое удобство; а обилие рваного народа, изнуряющегося в труде или галдящего в кабаке, производит одуряющее впечатление неопрятности и сутолоки, никогда в такой степени не обезображивавших тихих улиц наших сел и городов. Но обилие чернорабочего, обилие рвани, крика, изнурения, брани и пьянства – все это уничтожает только внешнее благообразие наших жилых мест. Несравненно более тоскливое, изнурительно скучное впечатление производит, так сказать, упадок нравственного значения, особенно городов, упадок тона, который в *старые* времена был свойствен городу, как центру, в котором живет образованное общество. Велика ли была эта образованность наших городов – это вопрос другой; но за городом была известность образованного центра, просвещенного, где образованный человек стоял всегда на первом плане; были там люди разных сословий – и мещане, и купцы, и разночинцы, но как отличительная черта от деревни, от деревенской глуши, всеми признавалось, *числилось* за городом значение высшего в нравственном отношении центра. И как бы ни был мал кружок действительно образованных людей в городе, он всегда имел значение; всякий лавочник мог указать, где живет такой-то генерал, который пишет стихи и играет на виолончели; всегда был небольшой кружок людей, выделявшийся из массы городского общества своим нравственным значением; словом, образованность отличала город от деревни и

была именно главной отличительной чертой города. Сплетни, пересуды, дразги, раздоры, грязь и всякая дрянь – есть везде; в город приедешь – *отдохнешь!* «Надо поехать в город – *освежиться!*» — говаривали в прежние времена; теперь, напротив, говорят: «Надобно куда-нибудь забраться в глушь, в дебрь... надо же хоть немного освежиться!»

Я не сомневаюсь, что и теперь в каждом мало-мальски многолюдном центре всегда есть кружок людей, интересующихся общими вопросами жизни, конечно, во сто раз более образованных, чем «образованное общество» прежних лет, но количество их непропорционально мало, даже буквально ничтожно сравнительно, во-первых, с огромной массой той скучающей публики, о которой говорено в предыдущем письме, а во-вторых, с наплывом еще нового сорта людей, рожденных и возвращенных развитием капиталистических предприятий, – людей крошечных специальностей, загипнотизированных какою-нибудь капельного частицею большого предприятия, удаленных этою капелькою от всяких общих интересов и вопросов. В наплыве этого изуродованного своей односторонностью человека, в его мелкой суете, в мелком, ничтожном деле, с которым он не знает покоя и никому покоя не дает, – человека, возвращенного капиталом и привлечшего за собою в города сотни тысяч оборванного ломового народа; в шуме, треске сумбурного и беспрерывного движения, втиснувшего на улицу бочек, тюков, кип, ящиков в сто раз больше, чем людей, – исчезло и внешнее

благообразие города, исчезло и его обязательное нравственное значение, исчезла его местная своеобразность – и город превратился в центр скучнейшей суеты, скучнейших, однообразнейших людей, изнуренных какими-то мельчайшими заботами, каждый сам по себе, без возможности понимать такую же мельчайшую заботу своего ближнего.

2

В прежнее время куль хлеба, положенный на телегу или в сани в помещицьем имении и отвезенный мужиками в город к купцу, здесь же у купца в амбаре большей частью и оканчивал свою биографию и уже в крайнем случае оказывался в Москве. Помещик, мужик и купец – вот все агенты и факторы хлебной торговли в старину; мужик пахал, сеял, косил, молотил, возил – словом, совершал один сотни таких дел, которые в настоящее время, при расширении хлебной операции, совершаются уже сотнями рук. Теперешний купец не в городе, даже не в Москве, а в Берлине и Лондоне, и прежде чем теперешний куль доберется с базара какой-нибудь станицы до заграничного корабля, он пройдет через сотни рук, получающих средства к жизни только от прикосновения к нему и имеющих по отношению к этому кулю какую-нибудь мельчайшую, специальную обязанность, отнимающую все время и поглощающую всю умственную деятельность. В настоящее время количество народа, толпящегося около куля хлеба на пространстве, которое он пройдет от базара до корабля, до такой степени велико и разнообразно, что цена куля, оказавшегося на заграничном пароходе, как высчитывали мне знатоки, вырастает на пять рублей против цены базарной, – и все эти пять рублей, по грошу, по полкопейке, по гривеннику, разбираются массою народа,

который живет этими копейками и который за эти копейки и гривенники должен всю жизнь торчать около какой-нибудь частички дела, посвящая ей все свое внимание.

Человечек «по хлебной части», с которым мне пришлось встретиться на пароходе, может служить образчиком одной из этих специальностей хлебного дела.

Человечек этот ехал в большую на Дону станицу Ц – скую с тем, чтобы жить там всю осень безвыездно. Обязанность его должна состоять в том, что он каждый божий день, с раннего утра и до позднего вечера, будет, как ястреб за цыплятами, следить за мужиками, привозящими в станицу на продажу хлеб; он будет их убеждать, усовещивать, божиться и клясться, орать, ругать, тянуть за рукав, чтобы всячески оттянуть от конкурентов других фирм, агенты которых будут делать то же самое, что и он. Постоянно и непрестанно его глаза, в течение всего этого времени, должны напряженно разыскивать во вселенной только кули и мешки; уши его должны напряженнейшим образом слушать только то, что касается куля и зерна, и каждый звук, похожий на слово куль, он должен жадно и цепко перехватывать своим насторожившимся ухом, немедленно направляя свои мысли, поступки по тому направлению, которое указывает специальная его задача. За этот напряженный, однообразный, изнурительный труд, отнимающий у человека почти все часы дня, он получает самое ограниченное вознаграждение; одет он бедно и плохо; путешествуя в третьем классе, то есть на палубе, он

таскает с собой старое одеяло, в которое кутается от дождя и ветра. Имущество его – небольшой чемоданчик, в котором находится жестяной чайник, стакан, сверток чаю и сахару и небольшая подушка; все это, как видите, должно в маленьком чемоданчике занимать так много места, что для какого-нибудь иного рода имущества, быть может пары-другой белья, едва ли будет место. Табак он курит в двугривенный четвертку и покупает только осьмушками; книжка папиросной бумаги для него дорога: он покупает за две копейки большие листы папиросной бумаги; из этой бумаги он с величайшей экономией в табаке крутит тончайшие папиросы на одну, много две затяжки: как затянется, так папироса вся сразу согнется и ударит его горячим концом по губе – так она жидка. Он больше тратит времени, чтобы заплевать папиросу, в которой бумаги более, нежели табаку, чем курит эту папиросу. С ним жестяной чайник и маленький сверток с чаем и сахаром. Чаю он заваривает самое ничтожное количество, так что, налитый в стакан, он оказывается едва подкрашенным, а затем несколько стаканов он выпивает голого кипятку, только кусок яблока сунет для вида и, вероятно, вкуса. Но сколько бы он стаканов ни выпил, кусок сахару, вынутый в начале чаепития, никогда не был уничтожен весь, а всегда оставалось около половины, которая и пряталась обратно в сверток. Никаких «порций» и даже «полупорций» по части съестного он ни разу во весь путь не спрашивал – питался исключительно белым хлебом, запивая чаем. Одна-

жды только он купил десяток яиц на пристани. Вот все его материальные блага, достигаемые изнурительным мелочным трудом.

Человек этот – агент низшего порядка: он скупает хлеб в известной станице и складывает его в ней же. Таких агентов у фирмы множество в разных селах и деревнях; над ними идет другой ряд агентов, которым тоже за труды достаются копейки, а труды которых тоже муравьиные. Один – только и делает, что объезжает склады по селам, запускает руку в зерно, жует его, выплевывает, ругается и уезжает: придет, пожует, выплюнет, обругает, и дальше. Другой – только и делает, что вешает да знаки ставит то черным помазком, то красным. Третий – только считает: толкнет ногой в куль и запишет, толкнет ногой и запишет и т. д. . . . Это покупка, а потом перевозка – пароходы, железные дороги. Стоит посмотреть на билет прямого сообщения, положим, пробывши в дороге три дня, от Одессы до Петербурга, чтоб убедиться, какая несметная сила и разнообразие в одной специальности контроля; билет проколот крестами, звездами, полумесяцами, кругами, квадратами и т. д., и на каждый прокол и прокус – особый человек, получающий хлеб только за прокус билета известным манером и этим существующий на земле. А там полчища стрелочников, полчища таинственных незнакомцев, которые невидимы на поверхности земли, а ползают под вагонами, постукивают что-то, а там полчища людей, которые только с записной книжкой ходят мимо вагонов и

записывают номера, и т. д.

А пароход? Велик ли он весь-то – много-много пятнадцать саженей длины и саженей пять ширины, а посмотрите, сколько там по разным трещинам набито народу, и у каждого своя часть. И наверху, и внизу, и с боков – везде понаделаны какие-то мышинные норы, величиной с папиросную коробку, а между тем в каждой такой папиросной коробке по целому семейству; непостижимо, каким родом могут существовать, даже дышать в такой коробке капитан – мужчина 13 вершков, капитанша – плотная «скульптурная» дама, беременная и уже имеющая ребенка, нянька ребенка, кошка и все принадлежности мужского, женского и в особенности детского туалета. А между тем существуют: как утро, коробка папиросная отворяется, и выходит из нее капитан в два раза выше коробки ростом, выходит капитанша, повидимому больше размером, чем вся коробка, нянька с ребенком, затем выносят один стул низенький, другой стул высокий; вывозят колясочку плетеную, велосипед, самовар, хлеб, жестяную сахарницу, арбуз и т. д. А вечером в эту же коробку все это множество людей и предметов опять вбирается постепенно, и коробка запирается на ключ. Иной раз, на самом дне парохода, где, кажется, уже ничего нет, кроме тьмы кромешной, вдруг оказывается дверь величиной в аршин, за дверью лестница в темную яму, а в яме младший механик, жена, ребенок, подушки. И все это плодится, множится, и все это сидит в *своей* коробке, варит *свой* обед, озабочено

жадным стремлением всунуть на плиту *свой* чайник прежде чайника старшего лоцмана и младшего боцмана, которые тоже держат себя независимо в своих папиросных коробках и от механиков, и от штурманов, и от рулевых, и всяких бесчисленных обитателей нор и ущелий, таящихся на пароходе.

3

И что же – вы, может быть, думаете, что человек такой норы скучает, томится, чувствует неудовлетворение и жаждет выхода? В том-то и дело, что нет; именно бисерная-то мелкота специальностей, приучающая человека сосредоточивать свои силы на каком-нибудь ничтожном предмете или деле, иссушает в нем всякую жажду простора и широты мысли; человек привыкает обходиться без этой широты и ухитряется создать из своего капельного дела такое количество вопросов и интересов, которое вполне поглощает все часы его жизни. Иной так обживется в своей мурье на пароходе или так сроднится с своим прокусывающим билеты инструментом, что их силою не разлучишь с их любимыми вещами и заботами. О сломавшемся паровом винте он может без умолку разговаривать с вами целые дни и недели – так это дело разработано его умом, похищенными интересами предприятия; но вообще о сложном механизме жизни он не найдет материала для разговора в течение пяти минут.

– Вы не овес ли изволите покупать? – подойдет к вам и спросит агент по овсяной части, человек, который два дня ехал с вами на пароходе, пил за одним столом чай, думал, кто вы такой, и так как у самого у него вся голова набита овсом, то его желание войти с вами в беседу не может, при всех усилиях его отупленной овсом головы, выразиться ни в

каком другом вопросе.

– Нет, не овес! – отвечаете вы несчастному калеке, и калеке больше ничего не остается сделать, как уйти прочь.

Иной из таких, суженных умственно и нравственно на какой-нибудь мелочи, людей, случайно вступив с вами в общий разговор, с огромными усилиями делает только вид, что слушает вас и понимает. Ничего он не слышит, ничего для него не важно: все это для него не подходит, а если и интересуется даже его, то ему просто некогда; но когда дело дойдет до керосина, на котором держится все его земное существование, он вас затопит речью, как керосинный фонтан, разверзнет такие пространства керосинного мышления, что конца-края им не показывается, если, конечно, посмотреть на дело основательно. Он сделал только «беглый» обзор, а и то вы не знаете, куда бы от него уйти и как бы скрыться; у вас уже давно трещит в висках и начинаются грудные спазмы, а ведь это только «беглый» обзор!

Мелочность мыслей, забот, интересов, их чрезвычайная раздробленность – отодвинули на задний план всякий интерес к живому, общему делу. Думы толкуют всё о тех же агентствах, пристанях, об отводе мест для завода, о трехкопеечном сборе с куля, с бревна, с мешков, о подъездных путях для этих кулей, мешков, бревен и бочек. За всеми этими неуклюжими складами, амбарами, лесопилками, пивными и иными заводами, расставившимися где попало, – не разыщешь окружного суда, чтобы послушать какое-нибудь разби-

рательство, подумать о жизни. Адвокат совершенно забыл, что в былое время он, если только бог дал ему ум и совесть, мог, защищая какого-нибудь мужика, сказать обществу много правды, и идти слушать речь по общим вопросам было делом обязательным для мало-мальски не невежественного горожанина. Теперь и в суде, в этом месте, где хоть капельку-то можно было бы слышать о правде жизни вообще, царит отражение тех же мусорных печалей муравьинообразного человека, копошащегося на куче и около кучи, именуемой капиталом: перебор двух копеек с пуда, взыскание штрафа – словом, печаль, забота все о той же бочке, о винте, о куле, о тюке, о доске, и ни малейшей заботы о человеке. Недавно, например, в петербургском окружном суде разбиралось дело одного *афериста*⁴⁸, который разъезжал по русским железным дорогам, разыскивал пострадавших *от увечий* на железнодорожной службе, брал от них доверенности, выговаривая в свою пользу 50 процентов с вознаграждения, которое он получит в пользу своих клиентов с железнодорожных обществ. Судили этого афериста за то, что дорого берет, судили за полтинник. Но вот что любопытно: «Доверенностей, полученных аферистом, у него оказалось 360 штук» («Новости», № 229). Вот ведь какую массу калек хотел ограбить этот аферист! Надобно, конечно, наказать его. Но 360-то уродов

⁴⁸ Недавно, например, в петербургском окружном суде... – «Железнодорожные процессы по «увечным делам». Дела по искам о вознаграждении за увечье и смерть, причиняемые эксплуатацией железных дорог» – «Новости и Биржевая газета», 1887, № 225 от 18 августа, № 229 от 22 августа и № 252 от 14 сентября.

и увечных людей, открытые им, куда ж денутся? – ихние-то увечья, без участия афериста, так и останутся в забвении. Ведь одних костей человеческих в 360 увечьях, я думаю, пудов пятьдесят, шестьдесят наберется? Неужели же их-то не стоит показать публике и поговорить о них? Статья, из которой я заимствовал сведения об аферисте, вся посвящена обсуждению нового закона, касающегося именно вознаграждения за увечья железнодорожных служащих. И что же? Оказывается, что все усилия железнодорожных администраций направлены исключительно к обходу этого закона. Образованные, получающие хорошие оклады, купленные предприятием люди ломают головы над тем, как бы обойти закон, желающий защитить увечного, и вышвырнуть калеку на улицу. И вот что изобрели между прочим: «Имея в виду установленный законом *годовой* давностный срок для предъявления исков по вознаграждению за вред здоровью, правления *предупредительно, без всякого со стороны потерпевшего требования*, выдают ему кое-какое пособие, или сохраняют ему жалованье, или перемещают его в новую должность, в виде вознаграждения за полученный вред, *но делают все это в течение только одного года, а потом, когда год прошел и, следовательно, срок давности истек, – общество увольняет потерпевшего и прекращает с ним всякие обязательства, взятые на себя добровольно*» (та же газета, № 229). Ведь на такую жестокость надо много ума потратить, так как за этот ум платят, дают хлеб выдумщику. Нет, положитель-

но повсюду, благодаря пришествию этих копеечных тревог капитала, упал интерес и значение общих коренных вопросов жизни. Жизнь человеческая исчезла под наплывом суеты предприятия; люди, их печали, горести, их драмы, их муки, нужда, грех, горе, их надежды, желания – все выбито из общественного сознания, все потеряло значение перед горем перевозок и переносок, страховок, коносаментов, винтов, тюков, ломовиков, пароходов, контролеров и т. д. и т. д. Нет, не живет людей могущество и сила купона! Скуку, сухость, мелочность и тусклость вносит такой купонный слуга во все сферы жизни – и вот почему так невыносимо скучно теперь везде, где «купону» удалось развернуться более или менее свободно.

IX. Рабочие руки

1

Еще скучнее и тяжелее, чем при созерцании иссушенного печальями купона *агента*, чувствуешь себя при виде другого *аппарата*, изобретенного тем же невнимательным к «человеку» купоном, – созерцании «чернорабочего», уже во множестве народившегося на Руси.

Во всех местах, селах и деревнях, городах – словом, везде, где только есть какой-нибудь крошечный агент какого-нибудь предприятия, – непременно вы видите уже целые толпы человеческих существ с верблюжьими горбами на спине, без шапок, без сапог. Искусственные верблюжьи горбы, сделанные из дерева и обшитые кожей, тверды и крепки, и сделаны они в защиту натуральной человеческой спины; искусственный горб не переломится, а следовательно, останется цела и натуральная человеческая спина. Видите, какие гуманные требования предъявляют к человеческой спине все эти излюбленные детища капитала, все эти тюки, бочки, все эти в разных видах оживленные металлы и камни: они хотят влезть на человеческую спину в таких размерах и количествах, что она бы должна переломиться, если бы сама не позаботилась о самосохранении и не выдумала, в виде са-

мообороны против бесчеловечных замашек капитала, искусственного верблюжьего горба. Капиталу нет дела, до человеческой спины; он хлопочет о своем любимом детище, паровой молотилке; ее ему нужно пустить в свет, она хочет жить, а переломится ли там какая-нибудь спина – это в его цели и идеи не входит. И повсюду и во всем чернорабочем труде вы видите натугу, стремление преодолеть что-то, не соответствующее обычным силам человеческим: оханье всем животом и нутром, «дубинушка» с отчаянным напряжением сил в конце каждого куплета, наконец, натуга, слышащаяся во всякой песне, не говоря о таких радикальных приспособлениях, как искусственные верблюжьи горбы, то есть деревянные позвоночные хребты, – все это говорит о нечеловеческих усилиях, все направлено к преодолению трудностей, не свойственных обычным человеческим силам. И если вы представите себе, что эти стоны нутром, эти «охи» напряжения и нечеловеческого усилия оглашают воздух наших больших рек, наших пристаней и торговых городов, оглушают вас и тиранят ваш слух с раннего утра до поздней ночи; надрывают ваши нервы, доносясь откуда-то издалека и неистовствуя вблизи вас, – то успех промышленности не сразу пленит вас и придется вам по сердцу; люди, превращенные в верблюдов, и притом сотни тысяч людей, едва ли свидетельствуют об успехах человеческой личности. Нехорош также человек-верблюд и в кабаке и в драке, но винить его за такой способ отдыха решительно невозможно: от него берут

силу и кроме кабака решительно ничего не дают; органы в трактирах играют уже и бьют в барабаны с шести часов утра, и с этого же времени пьет отдыхающий верблюд-человек. Да и вообще кроме кабака мы решительно ничего не придумали для нашего народа в качестве способа душевного и физического отдохновения, и винить утомленного трудом человека-верблюда в кабацком безобразии невозможно.

2

Что кабацкое безобразие действительно отвратительно – этого также нельзя не засвидетельствовать. И все-таки в конце концов в этой чернорабочей среде чувствуешь себя более по-человечески, чем в скучной среде людей, уступивших купону за чечевичную похлебку свой ум, знание и вообще частицу своей души. Чернорабочий уступает капиталу только руки, и выражение *рабочие руки* вполне точно обозначает качество жертвы, приносимой чернорабочим молоху-купону. Руки, спина, ноги – вот что куплено пока капиталом у мужика, крестьянина, чернорабочего. Душу, совесть, мысль – он еще не захватывает в свои лапы так, как бы желал; дело его на Руси пока новее.

И живая, детская душа поминутно сказывается в этом человеке-верблюде, раз он еще недавно в этом новом звании и раз только на минуту прекратилось его верблюжье дело. К счастью его, он еще не знает, что появление людей-верблюдов, к которым он принадлежит, есть *фазис*; он не знает, что не просто, как ему пока думается, для податей превратился он пока, на время в верблюда, но что он уже втянут в течение, что он уже завязил коготок и что «фазис» разыграет над ним такие-то и такие-то превращения, давным-давно уже определенные в книжках и предсказанные на множество лет. Он думает – «как наживу, так и к себе!» Но не знает, что фа-

зис уже предначертал ему путь – уйти ни с чем и опять ворочаться, постепенно отвыкнуть от семьи, завести любовницу, бросить жену (которой, так же как и ее дочке Машутке, уже предначертаны перспективы совершенно определенные), и, пожалуй, попасть в темную за убийство в пьяном виде, за кражу и т. д. Ничего этого «наши ребята» не могут еще считать непреложным и обязательным для них до конца дней. Книг, где прописано про неизбежность фазисов, они не читают, перспектив мрачных никогда не представляли, так как все деревенские перспективы – не в человеческой власти и критиковать их, или предсказывать, или определять заранее невозможно, и никто из крестьян никогда этим не занимался более, как в размерах, обнимавших будущность – весенних всходов. Эту же непривычку мыслить о более отдаленных перспективах жизни задетый коготком купона крестьянин перенес и в свой верблюжий труд. Пока что он побряхтит, а потом и «будя!» Но этого «будя» не будет для него наверное, и уже есть маленькие признаки, что он начинает сердиться на свое верблюжье положение, как бы предчувствуя, что это верблюжье дело не выпустит его из своих лап вплоть до могилы.

Но, повторяю, хоть и есть признаки, доказывающие, что он способен рассердиться, – все-таки они ничтожны сравнительно с беспрестанным проявлением чисто детских черт удовольствия и веселья жить на свете. Чуть только на минуту, на мгновенье прекратится верблюжий труд и выдастся

свободный час, которым может воспользоваться не купленная купоном душа, всегда она тотчас же проявляется светло, весело, совершенно по-детски.

– Дай-кось, с Федором-то сыграю штучку! – о радостью малого ребенка говорит пароходный повар, вытаскивая у коровьей головы вилообразную кость. – Кость какая ловкая попалась!

Нужно знать, что этот повар для рабочих также работает вместе со всеми товарищами. Он только что вылез из воды, где целый час стоял, помогая стаскивать баржу с мели, – он весь мокрый, потный, усталый; едва только он вылез из воды, как принялся готовить обед; ребята уж его понукают. Но вот, разможжив обухом коровью голову (в первый раз я видел это удивительное кушанье) и приметив там подходящую для шутки вещицу, вилообразную кость, он не упускает случая тотчас же сыграть и «штучку».

– Федор Иванович! – говорит он, подходя к простоватому и добродушному рабочему, не успевшему еще отереть потного лба после тяжкого труда. – Не угодно ли вам со мной *паре* подержать? На сороковочку? Бутылочку пивца? Всего копеек на тридцать на пять? что за беда? А выиграете – я угощаю...

Федор Иванович долго отнекивается, уклончиво улыбается; но повар так убедительно доказывает, что «паре» – хорошая забава, что Федор Иванович, наконец, соглашается и, потянув к себе один из концов вилообразной кости, перело-

мил ее: это и значит, что «паре» принято обеими сторонами.

– Ну вот и превосходно! – хитро, плутовато, но весь переполненный сдерживаемым смехом говорит повар. И прибавляет: – Ну теперь, Федор Иванович, вы меня остерегайтесь!

– Иди, обед готовь! Полно болтать!

– Иду, иду! Теперь остерегайтесь, Федор Иванович! – едва не фыркая, говорит повар и уходит.

– Ладно! – самодовольно говорит Федор Иванович, продолжая вытирать пот. – Ты, брат, сорок-то копеек вынимай, а не я!

Дело в том, что, приняв «паре», принявший должен всячески остерегаться, чтобы его товарищ по пари (у которого остался другой конец кости) не всучил ему под каким-нибудь предлогом чего-нибудь в руки, сказав: «Бери да помни!», то есть помни пари. Раз он оплошает и возьмет вещь в руки и будет держать ее в то время, как его противник успеет сказать «бери да помни», он проиграл и должен по приезде в Ростов угощать.

– Ладно! Остерегусь, брат, не беспокойся!

– Ребята! – вдруг, торопливо входя на палубу к рабочим, говорит тот же повар, только что ушедший готовить обед: – иди кто-нибудь на баржу. Отнеси белье... капитанша сердится, велит поскорей отнести!

Лицо у него как бы испугано тем, что сердится капитанша.

– На, Федор Иваныч, снеси скорей. Мне недосуг!

И он, суя Федору Ивановичу комок белья, торопится уйти.

Федор Иванович, не ожидавши такого мгновенного оборота дела, взял белье.

– Бери да помни! – почти простонал повар и покатился кубарем от смеху.

Хохотала вся артель гораздо громче, шумней и горластей, чем горланит она на работе. Такого непомерного смеха с чиханьем, охами, стонами давно не слышал я нигде. Так хохочут только дети, которые иной раз расхохочутся до того, что «нельзя унять»! Федор Иванович, так мгновенно и внезапно поставленный в дураки, добродушнейшим образом улыбался и, держа в руках тряпки, говорил:

– Как он легко меня обернул, жид эдакой! Я думал, всё не сразу же... Ан он кубарем перевернулся... не дал мне... вот жид-то!.. Каким легким оборотом кувыркнул!..

– Да стряпай ты щи-то, чорт! – орала хохотавшая артель.

– Легка! легка я тебя, Федор Иванович! – бормотал повар, не имея возможности перестать хохотать и в то же время колотя топором по коровьей голове. – Вот как у нас легка обдeldывают!

Когда сломался пароход и стало всем известно, что дня два он простоит на месте и что, следовательно, всем предстоит двухдневный невольный отдых, тотчас же всеми рабочими овладело самое игривое детское настроение.

– Рыбу! Рыбу ловить! Живо! собирайся, ребята!

– Мне бы рубаху починить!

– Починишь! Чего там! Полезай в воду!

– А мы на берег «раков» ловить! – весело горланит другой. – Там озерцы есть, болотцы, я знаю.

– Валяйте раков ловить! А мы за рыбой! Бери бредень! Живо!

И тотчас все рабочие пошли с парохода, разбежались – кто на берег ловить раков, кто в Дон с бреднем. С баржей также и бабы и ребята тотчас же стали опускать сетки. И на Дону, где ходили с бреднем, и на берегу, где ловили раков, шло шумное, веселое вранье, смех, разговор – словом, детская игра. Нет! детского в них еще гораздо больше, чем верблюжьего, по крайней мере для тех, кому еще в новинку этот верблюжий труд, кто только еще начинает знакомиться с ним!

3

Живая человеческая душа еще до такой степени в самом деле жива в нашем народе, что иногда живое проявление молодой и светлой души решительно устраняет впечатление машинности и однообразной изнурительности того дела, для которого этот народ закуплен и закабален капиталом. Смотришь на человека, которому нужно бы быть машиной, и не видишь машины, а восхищен удивительной прелестью человека.

Я не могу забыть и, к сожалению, не могу передать достаточно ярко того истинного поэтического впечатления, которое произвела на меня работа трехсот молодых женщин, занимавшихся чисткою шерсти..

Когда я вышел на берег, у которого пристал пароход наш, чтобы принять девяносто тюков шерсти, – передо мной открылась такая картина: голая, утопающая в солнечных лучах (послеобеденное время) степь с едва приметными вдали очертаниями станичных домов и мельниц; на самом берегу передо мной ряды каких-то стогов, которые я принял за стоги сена, но которые оказались стогами белой шерсти, покрытыми сверху брезентами, также белыми. Но что меня поразило – это длинное, выстроенное из нового лесу, деревянное здание, до чрезвычайности похожее на летние загородные увеселительные кафе: та же открытая сторона, с лег-

кими занавесками, опускающимися во время ветров и дождя, а теперь поднятыми, а главное – звуки стройного пения какого-то большого хора и масса женских фигур: одна к одной, к открытой стороне и поперек, как в театрах, – множество женщин, множество разноцветных платков на голове, на плечах. «Что это такое?» – думалось мне, когда я подходил к этому зданию. Иной раз казалось, что это, может быть, собрания сектанток – на этих собраниях также поют. Но, подойдя близко и, наконец, очутившись в самом здании, я увидел, что это не концертная зала и не сектантское собрание, а большой сарай, в котором более трехсот молодых девушек занимаются чисткой шерсти; волны этой белой шерсти лежат перед ними на длинных столах; они должны выдергивать все нечистые и темного цвета шерстинки. 30 копеек в день за работу с четырех часов ночи до восьми вечера – кажется, надо бы пожалеть тружениц? Но едва я вошел в этот сарай и оглядел его и этих тружениц, как во мне исчезла всякая мысль о трудовой стороне этого собрания. Руки работниц действительно что-то щипали, выдергивали – словом, делали какую-то кропотливую работу; но в самих этих труженицах (за исключением нескольких пожилых женщин и трех уродливых калмычек, все девушки были молодые, шестнадцати-двадцати лет, не больше) было так много живой женской красоты, изящества, молодости, живой игры жизни, что представление о «работнице» совершенно исчезало в удовольствии видеть такое обилие энергии жизни. Не знаю, не

могу определить, в чем, в каких мелких подробностях проявлялась этим множеством красивых женщин их жизненная энергия: в песне ли, как зарница вспыхивавшей сильно и дружно в одном конце сарая и замиравшей на другом, чтобы и здесь вспыхнуть также зарницей; в их ли врожденном умении вкладывать красивое движение во всякое мелкое дело рук – не знаю; но быть среди этого «живья», нисколько не смиренного трудом и придавшего даже ему, однообразному и скучному, оттенок какой-то легкой, шутливой забавы от нечего делать, – быть здесь было весело: просто почему-то ощущалось желание *жить*, ничего больше, но желание жить было веселое, бодрое.

Сколько раз на своем веку я видел художественные произведения, в которых художник старался меня, зрителя, пленить женской красотой: соберет иной штук двадцать женских фигур и, чтоб сразу потрясти меня, разденет их, бедных до нага, усадит около какой-нибудь двухаршинной лужи, разложит их по берегам этой трясины в самых вопиющих положениях, как ему угодно, без зазрения совести. Словом, на разные манеры хотят нас восхитить женской красотой, – и, сколько я ни помню, никогда от созерцания таких художественных произведений не получалось впечатление *жизни*, радости *жить на свете*, без всяких объяснений и толкований, дополнений и комментариев. Не получалось именно впечатления красоты, распрямляющей душу и говорящей измученному человеку: «не робей!» Напротив, всегда

возбуждалась какая-то тяжесть неопрятного состояния духа, ограниченность впечатления и мысль о прахе и тлене.

А вот здесь, в толпе этой деревенской молодежи, свободно выросшей в широком разнообразии трудовой жизни, счастливой тем, что эта жизнь требует отклика всех человеческих способностей, желаний и свойств, – вот они в простом, даже мизерном деле проявляют (не ведомо как и в чем) такую красоту живого человека, что жить на свете кажется радостью, а мертвая тоска, безнадежность сутолоки жизни, привезенная с собою из условий ненародного строя жизни, исчезает, как удушливый дым: начинаешь видеть солнце, рад, что оно светит и греет...

– Кто желает – иди кипы таскать на баржу! – громко на весь сарай провозгласил приказчик, и масса девушек, оставив свою работу, хлынула на воздух.

Нужно было видеть, что они сумели сделать с этим уродом – кипой шерсти, обтянутой железными обручами. Если бы это дело делал мужик, – куль или кипа непременно бы преобладали над ним; мужик бы, надседаясь, упирался в куль, а куль сопротивлялся; постоянно слышались бы понукания: «н-но! напирай, Михайла, напирай, пхай-пхай» и т. д. Совершенно не то вышло теперь; едва на этот упорный, неуклюжий куль налетала стая молодежи, как в нем как будто бы мгновенно пропадало все его кулевое величие и солидность. Он не только не упирался, а опрометью бросался от девчат, которые, казалось, только кружились и играли около него,

как птицы. Что-то заячье проявилось в этом толстомясом существе: он как бы оглупел, летел сломя голову, вдруг стал стоймя, но тотчас же перевернулся через голову и в еще более глупом виде загремел куда-то в бездну, разверзшуюся в барже. И все это с такой непрерывною веселостью, шуткой, игрой между молодежью, что все, кто смотрел на это, получал впечатление просто детской радости – стоять и смотреть на это. А куль потерял всякий интерес, и никто на него не обращал внимания, хотя он и был в железных обручах и привык умничать над человеком... И вот для такого-то впечатления – радости жить на свете и видеть живого человека – не потребовалось никаких неопрятных приспособлений: все девчата одеты, хотя и в трехкопеечные ситцевые платишки, хоть у всех у них и были загорелые ноги, мозолистые руки... и в то же время, несмотря на «черную работу», в них не пропала ни единая черта истинной красоты человеческой вообще и женской в частности.

Но, увы, читатель, – это только вначале «играет» жизнь, а труд исчезает в прелести этой игры. Эти триста молодых девушек еще только завязили коготок в железную лапу купона, но раз коготок увяз – так и всей птичке пропасть. Много еще в них живой души, живой непочатой силы жить; но дальнейший путь жизни их нехорош: без всякой жалости расхитит он и растащит живую душу. Среди рабочих, уже *видавших виды*, уже «обыкших» среди рабочих порядков и нравов, складывающихся по воле купона, слышатся иной раз глубоко омерзительные разговоры о женщинах, о тех самых, которых я видел еще играющими «как детей».

– Он что говорит про меня? – небрежно поплеывая подсолнухи, спрашивает один бывалый рабочий у другого, тоже бывалого; они встретились на железной дороге в вагоне.

– Он говорит, что по морде тебя бил за сестру... Я, говорит, ловко ему морду «разделал».

– По морде?

Продолжая плевать скорлупу, первый рабочий думает о чем-то и, подумав, говорит:

– Нет; врет он (такой-сякой), по морде он меня не бил...

– Он говорит, по морде, говорит, отжарил.

Опять что-то обдумывает тот, кого будто бы били по морде, и, поплевав скорлупу и подумав, опять не спеша произ-

НОСИТ:

– По уху дал два раза, а по морде не бил... Это он врет!

– Ты чего с сестрой-то?

Рабочий опять подумал и очень небрежно ответил:

– *Подлюга* она была моя... очень просто!.. А он, брат ее (так и так), сманил ее к приказчику... Денег взял с приказчика... Я воротился из города, а она у приказчика. Утром дождался ее, ветрел, оттрепал за косы... Она – выть... Прибежал брат – хотел мне в рыло... Ну, я его пхнул... Тогда они меня вдвоем повалили, руки держат, ну и два раза по уху дал... А по морде не бил...

Я, слушая этот разговор, признаться сказать, не понял хорошенько – говорит ли он *подруга* или, как мне легко могло слышаться, *подлюга*, и, чтобы выйти из затруднения, спросил у рабочего точного ответа:

– Обыкновенно *подлюга*! Какое же ей имя, коли ежели на это идет?

– Да ведь вы сами совращаете?

Рабочий улыбнулся и сказал:

– Да ведь нам что под руку попало. Коли идет, так – чего же? А *подлюга* потому, что хорошая на это не пойдет!

– Отчего же бывают одни и другие?

Рабочий молчал и соображал, не покидая подсолнухов.

– Ежели у которой родитель строг, то она не позволит... А у которой родители строгости не имеют, так она и пошла через голову... Строгости нет – вот отчего!

Итак, опять *строгость*, известное российское средство от всех болезней.

Но, как кажется, выдавший виды рабочий по временам начинает ощущать и гнев и стыд и, как я уже сказал выше, сердиться. Подъезжая к Ростову, мы видели, как оттуда по берегу промчался поезд по направлению к Новочеркасску – специально военный: вагонов десять были наполнены казаками.

– Это они с *усмирения* ворочаются, – сказал один из пассажиров.

В Ростове я видел три турецких гостиницы, разнесенных рабочими до моего приезда за три дня. Работа была очевидно моментальная и сокрушительная; впрочем, теперь почти все уж и восстановлено: рамы, двери, окна, лестницы – все новое...

За что и на кого он сердится? Почему ему нужна неправдоподобная легенда непременно про иноверцев? «Турки зарезали христианина». «Евреи зарезали, задушили». «Татарин убил». Что это такое?

* * *

Примечание. В этих «письмах с дороги» в самых беглых чертах и набросках сделано обозрение не очень радостных явлений как городской, так и деревенской жизни настоящего времени. «Мечтания» в конце концов оказываются все-таки делом почти неминуемым для русских людей всякого зва-

ния, переживающих трудные времена. Да позволено же мне будет эти невеселые письма закончить возвратом опять-таки к мечтаниям, которые, как известно, никогда скучными не бывают. Помещаемая ниже статейка об одном литературном произведении потому, именно и помещается в «письмах с дороги», что написана под впечатлением *веселых минут*, которые дала мне встреча с хорошо устроившимися переселенцами.

Х. «Трудовая» жизнь и жизнь «труженическая»

1

Нельзя не признать, что мечтания о том, «как жить свято», занимают в сознании современного русского общества всякого звания далеко не последнее место. Всякого рода учения, указывающие «истинные пути», циркулируют в русском обществе в великом множестве. Постоянно слышите о проектах устройства колоний, поселений, земледельческих общин, и даже не только о проектах, а о самых реальных опытах осуществления этих проектов на деле. Какого бы то ни было видимого и скорого успеха этих опытов, конечно, ожидать невозможно: человек, протестующий своими мечтаниями против условий культурной жизни, которую ему ничего бы не стоило принять в готовом виде, тем не менее сам уже заражен уважением к ее благам и, плененный строем справедливой народной жизни, однакож не может не содрогаться, сталкиваясь в ней иногда с проявлениями удручающей тьмы и дикости.

При такой неясности положения культурному человеку трудно чувствовать себя уверенным и идти к цели бодрым

и смелым шагом. Цель еще недостаточно определилась для него и вырисовывается еще в неясных очертаниях пока еще только мечтаемой справедливой жизни. Но неосуществимость всех этих мечтаний на деле не может умалить значения сущности мечтаний: жить так, чтобы избавиться от грехов современных условий жизни, – это стремление почтенно и значительно. И вот почему я в настоящей заметке хочу обратить внимание читателей на одно литературное произведение, в котором автор доказывает нам, что мечтания, не мирящиеся с грехом современной жизни, существуют и охотно воспринимаются в среде людей чисто народной среды, причем, самое важное, действующие лица его рассказа – редкие образчики людей самого благородного крестьянского типа, – чувствуя общую с культурными людьми потребность «жить свято», не только не имеют надобности чего-нибудь отбросить из своего строя жизни, как это неминуемо для культурного человека, но стремятся, напротив, не только сохранить его во всей стройности и многосложности, но и еще прибавить к нему новых забот, усложнить его благами, выработанными культурой, – не «сократить» себя, как стремится делать культурный человек, желающий «опроститься», а, напротив, расширить количество своих жизненных интересов. Нельзя не сказать поэтому нескольких слов и об этих своеобразных мечтаниях, хотя бы мечтания их и были только пока мечтаниями.

Место действия изображаемых г-ном Тимощенковым мечтателей – совершенно неизвестная, неведомая нам калмыцкая степь.

Всякий, кто желает основательно и в то же время не обрекая себя мелочными, ничего никому не говорящими подробностями узнать жизнь этой пустынной равнины, простирающейся треугольником от Царицына до Ростова и от Ростова до Петровска на Каспийском море, найдет в произведении г-на Тимощенкова истинное сокровище⁴⁹. Он не только вполне, во всех отношениях узнает жизнь этого пустынного угла со всеми его особенностями, но и получит вообще величайшее художественное наслаждение. Новизна типов, новизна природы, борьба человека, предоставленного только собственным своим силам, с тысячами стихийных затруднений – все это изображено сильно, ярко, выразительно и вообще не уступает по мастерству работы произведениям первоклассных русских художников. Но самое важное, что особенно заинтересует читателя, – это изображение образцовой крестьянской семьи, достигшей «трудами рук своих» полнейшего благосостояния и возможной только в таких ди-

⁴⁹ В этой заметке я говорю не о всей книге г-на Тимощенкова «Борьба с земельным хищничеством», а только о ее первой части, напечатанной первоначально в журнале «Новь».

ких, как бы оставленных «без внимания» странах, как мало обитаемая калмыцкая степь.

Во главе этой огромной, широко и полно разросшейся крестьянской семьи стоит крестьянин «Захар Абрамович Земля», человек *беспредельного радушия и доброго сердца*. Смолоду Захар Абрамович был крепостным, но за какие-то особенные услуги перед бариним он более 50-ти лет тому назад со всем своим семейством был отпущен на волю. Выпущенный на волю, он поселился в привольной калмыцкой степи, которая в то время, по выражению калмыков, была «земля без господина». Он поселился на широком приволье, заняв по праву первого захвата столько земельных угодий, «сколько пожелал», и зажил со всею семьей во всяком довольстве и изобилии. В настоящее время почтенному старику давно уже перевалило за 70 лет, но он еще бодр, свеж, сохранил зубы – словом, пользуется цветущим здоровьем. У него огромная семья, редкого притом благосостояния. Она состоит более чем из *семидесяти душ*. Старшему сыну его 48 лет, старшему внуку 33 года. Сам Земля со своею женой-старушкой живет постоянно в слободе, на старом пепелище, сыновья же его и два зятя живут пятью отдельными хуторами в степи, но составляют одну семью с общим имуществом. Хутора пользуются полным привольем в земельном отношении, отстоят один от другого верст на 30–40, и в каждом из них полное хозяйство большой крестьянской семьи! В каждом хуторе по два плуга волов, до двухсот голов рогатого

скота, от полутора до двух тысяч овец, значительное количество птицы и другого инвентаря. Сыновья и зятя распоряжаются в каждом хозяйстве самостоятельно, но отдают отцу отчет.

Земля не выдает своих дочерей и внучек в замужество «за двор», то есть в люди, а берет зятьев в свой дом, и таким образом семья его растет с большою быстротой. В последние годы *в его семье рождается более десяти детей*. Многочисленной семье своей Земля ведет строгую статистику. У него есть особая тетрадка, куда он записывает имя, время рождения и крещение каждого ребенка, рожденного в его большой семье. Когда привезут с какого-нибудь из пяти его хуторов крестить ребенка и окрестят, Захар Абрамович запишет его имя в тетрадку, подведет итог и скажет своей жене:

– Теперь, старуха, у нас двенадцать Иванов, семь Андрюшек, девять Настюшек, четыре Акулины, три Марины.

Этих Настюшек и Андрюшек в семье Захара Абрамовича расплодилось такое множество и, что главное, такого поразительного сходства в типе и породе, что в последние годы в семье этой был такой случай... Захар Абрамович женил в один день сразу трех внуков. Для публики это было так занимательно, что смотреть на эту *тройную* свадьбу приходили и приезжали из дальних мест. Двое из этих внуков были близнецы и так похожи ростом и лицом друг на друга, что часто *даже родители* их не различали и называли Ивана Петром, а Петра Иваном. На свадьбе, *чтобы невесты* и их родствен-

ники *не ошиблись в женихах*, одного из них, для приметы, должны были перевязать белым платком.

Вся эта многочисленная семья жила на свете, конечно, исключительно *трусами рук своих*; но, читая превосходнейшие страницы г-на Тимощенкова, в которых разработаны подробности трудовой жизни семьи Захара Абрамовича – эту неустанную борьбу с природой, со зверем, с хищной птицей, с бурями, метелями, неурожаями, падежами скота, болезнями и бедами в жизни людей и т. д., – вы *ни на одну минуту* не останавливаетесь на *трудности* этой *трудовой* жизни, а, напротив, каждую минуту ощущаете *безмерную зависть к ее всестороннему разнообразию*.

Прочитавши, например, страничку о трудовой жизни какого-нибудь студента или студентки, попробовавших научиться жить «своим трудом» под руководством какого-нибудь опытного сельского хозяина (примеры этому не редки), чувствуешь *именно труд*, несчастье попасть в *такое нелепое положение*. Легкое ли дело – жить в какой-то мурье, есть «серые щи», от которых «пучит», получать 30 копеек поденной платы и... утешаться только тем, что каждый кусок заработан *своим* трудом и что не в праздности, а в труде прошел целый день, с трех часов утра до девяти вечера, и что, наконец, лег спать не на постель, а на сырой пол, а в конце концов даже и угорел до полусмерти. Неужели *это-то* и есть *народное*? Это тиранство – и нужда и горе, от которого всеми способами желал бы вырваться каждый батрак! И вовсе

неудивительно, что этот батрак с иронией смотрит на «барина», который «бросил город», начинает жить «по-народному», полагая, что если его ударит сто раз в день пот, да надорвет он себе внутренности, да затрещит у него спина, так это самое и есть *трудова́я жизнь*. Не думаю, чтобы, например, такой писатель, как Крафт-Эбинг⁵⁰, в своей книге «Наш нервный век» придавал именно такое *каторжное* значение крестьянскому труду, на который он указывает как на целебное средство от многих язв, изнуряющих современное культурное общество. Сравнив духовную жизнь нашего поколения с хищническим способом земледелия и говоря, что злоупотребление духовными силами доведено в наше время до полной непроизводительности, он советует следующее: чтобы не истощить почвы, земледелец прибегает к плодopеменной системе. «Как изменилась бы судьба потомков умственных деятелей, если бы дети и внуки последних, придерживаясь подобной *плодопеременной* системы, обратились к первобытному назначению человеческой деятельности – *сельскому хозяйству*». Если «сельское хозяйство» понимать «по-нашему», то есть в смысле рабочей избы с тараканами, серыми щами, вспученным животом, ломотой и простудой «во всех суставах», так, мне кажется, незачем ездить ни к г-ну Энгельгардту⁵¹, ни в Единово⁵². Стоит только погово-

⁵⁰ Крафт-Эбинг Рихард (1840–1902) – известный немецкий ученый-психиатр, автор ряда работ по клинической и судебной психиатрии.

⁵¹ Энгельгардт А. Н. (1832–1895) – народник, публицист, известный своей

ритель с любимым рабочим, чтоб узнать, что и он точно так же, как и «интеллигентный работник», спит в мурье, страдает нутром и вообще совершенно замучен. За такими прелестями решительно нет надобности ходить в деревню; в городе можно не только «натрудить» руки, спину и вообще закряхтеть от работы, а и в котле с кипятком, например, свариться на фабрике, и с крыши упасть, и разбиться вдребезги. Если так, то слова: *сам своими руками* – тоже не имеют ни малейшего смысла. Кто ж это работает и где бы то ни было не своими руками? Даже вор – и тот сам своими руками взламывает замки, а взломать иной замок будет иногда потруднее, чем выкорчевать пень или привезти бочку воды.

Вот почему, читая хронику жизни Захара Абрамовича, читатель невольно останавливает свое внимание не на обилии хозяйственного опыта, накопленного Захаром Абрамовичем в долгие годы его трудовой жизни (и, кстати сказать, в высшей степени интересного), а *главным образом на обилии нервной деятельности этого человека* и вполне однородно живущей с ним его семьи. Он живет *как простой мужоик*: поле, скотина, изба – вот и все. Но ведь это только *аппарат*

агрономической и общественно-реформаторской деятельностью, автор одиннадцати писем «Из деревни» («Отечественные записки» 1876–1882 годов и отд. издания 1882, 1885 и 1897 годов). В своем именье Батищево в Смоленской губернии он создал рациональное хозяйство, куда ездили работать на практику многие из народников.

⁵² *Едимоново* – село Корчевского уезда, Тверской губернии, знаменитое с 1871 года школой молочного хозяйства с научными лабораториями, – также место практики народников.

жизни, такой же простой и нехитрый, как, положим, и аппарат телеграфа. Очень нехитрый этот телеграфный аппарат по внешнему виду, однако при его помощи можно разговаривать со всем светом, точно так же и нехитрый аппарат жизни Захара Абрамовича дает ему возможность соприкоснуться и жить в широком разнообразии явлений, доступных человеку на белом свете. Чего только этому «мужику» не надо знать, чего только ему не нужно предвидеть, предугадать, обобщить! Вот у него табуны лошадей, стада овец. Ему нужно за год предвидеть, будет ли чем прокормить скот в будущем году; надобно ему знать, какая будет зима, какая весна; он должен напряженно изучать всевозможные метеорологические изменения, помнить тысячи примет, не упускать из вида ни цвета облаков, ни манеры падения снега, ни того, где полевая мышь вьет гнездо. Он должен знать жизнь, нравы, замашки этой мыши до тонкости; прогляди он примету, не сообрази, не заготовь заранее сена и т. д. — и у него погибнут тысячи овец, лошадей... Он должен соприкоснуться мыслью с тысячами такого рода знаний, которые в культурном обществе составляют целые науки. Он знает, как *лечить* детей, больных вообще, как лечить скот, знает лекарства, травы, заговоры; ему нужно знать и о небе, и о земле, и о воде; ему надобно иметь железные мускулы, чтобы убить с одного размаха волка; ему надобно иметь нежное сердце, чтобы, заметив лихого человека, убогатворить его, прежде чем он задумает сделать зло; ему надобно иметь удивительное зрение, что-

бы за десятки верст видеть то, что не видно человеку с нормальным зрением; он должен иметь тонкий слух, чтобы слышать, как за десятки верст ходит табун и не напал ли на него лихой зверь или лихая птица. Словом, и физически и нравственно он непрерывно в работе, и вот только эту-то разносторонность и непрерывность живой духовной деятельности и надобно пристально изучать в народной жизни, чтобы видеть, как разносторонне хочет жить человек и как убийственно несправедлив, ужасен (к сожалению, нам этот ужас не вполне ясен) строй жизни культурного общества, как говорит Крафт-Эбинг, духовная жизнь истощена, как поле высосано хищником, Сравните *количество* труда деревенской бабы и городской швеи. Где этого труда больше? Бабе нужно сделать все самой; она родит, воспитывает детей, нянчит их, кормит, сама одевается и одевает всех, ходит за скотиной, за птицей, носит дрова – одним словом, глядя со стороны, минуты у нее нет покоя. А швея *только шьет* – ни поднять тяжелого ведра, ни пойти за скотом в поле, ни стряпать, ни ткать, ни прясть, ни жать – ничего этого не нужно, только – шей, шей, шей!..⁵³ А ведь положение швеи ужасно, тогда как положение бабы вовсе не внушает ужаса. Баба живет *вся*, а швея высосана нелепым строем жизни, истощена, как земля хищником, который пять лет подряд собирает с нее только пшеницу, то есть тоже – шей, шей, шей!

⁵³ «...Шей, шей, шей!» – рефрен из стихотворения «Песня о рубашке» английского поэта Томаса Гуда (1799–1845).

Читатель испытает величайшее наслаждение, если посмотрит на произведение г-на Тимощенкова, изображающего жизнь Захара Абрамовича именно с этой точки зрения, то есть с точки зрения полноты духовной и физической жизни. Таковую полноту духовной и физической жизни в современном культурном обществе можно только *купить* на деньги, но для этого нужно предварительно ограбить Индию, Бирму, Египет, развратить, разорить массы народа и массы же народа превратить в «поставщиков впечатлений», которые этот высший тип современного общества и *купит*. Чтобы быть сильным и здоровым, ему нужна езда верхом в Гайд-парке, ему нужен массаж, чтобы не застоялась кровь, ему нужен художник, чтоб в неприятную минуту успокоить свои нервы деревенским ландшафтом, а при упадке их – поднять взглядом на картину, возбуждающую волнение. Он так соскучился в Лондоне, что ему *сейчас* нужно *природы*, и вот экспресс мчит его в Альпы, и среди лета он весело ощущает на щеках крапинки альпийского снега... Сколько народу *порабощено* им для того, чтобы он мог жить *разносторонне*. Несомненно, при помощи опустошенной Индии, Бирмы, Египта можно устроить себе жизнь, *полную впечатлений*, но эта жизнь будет неправда, зло... А вот Захар Абрамович умеет основать жизнь несравненно более разнообразнейшую, и во имя этой жизни не пропадет и мухи на свете!

Тем-то и достоин глубочайшего внимания *строй* народной *трудовой жизни*. В культурном строе нужны деньги

для того, чтобы *купить* нужное человеку содержание жизни, в народном – нужен *труд* для того, чтобы все разнообразие жизни далось даром. Правда, народная жизнь исполнена невежества и незнания. Но разве во имя знания шьет швея, сгорает кочегар? При чем знание во всей этой потрясающей неправде, и почему его нет здесь – в строе чистом и справедливом? Отчего оно нейдет сюда? До какой степени не похожи, по своему внутреннему плану, эти два строя жизни – культурный и народный (хотя тут и там живут одни и те же человеческие существа), читатель может увидеть из одного чрезвычайно важного эпизода в произведении г-на Тимощенко, касающегося самого первейшего условия культурной жизни – *денег*.

3

Деньги нагрязнули на богатую (по-крестьянски) семью Захара Абрамовича совершенно неожиданно. Это случилось уже в то время, когда он жил пятью хуторами, в полном довольстве и изобилии. Изобилие трудового богатства было так велико, что, помимо полнейшего удовлетворения всех семейных нужд, Захар Абрамович не жалел добра и для ближнего. Всем сыновьям и внукам раз навсегда приказано: «Приедет гость – режь барана, мало – двух!» Действительно, если к нему кто приезжает, режут барана, хотя бы в доме и было много всякой снеди. В обыкновенное время в доме Захара Абрамовича на столе, покрытом скатертью, непременно находятся три вещи: целый, непчатый хлеб, солонка с солью и на большом блюде жареный молодой баран или поросенок. Так это заведено и во всех хуторах. Если случится гость, то на стол подается глиняный баклажок с водкой. Если гостей не было, то вечером, когда возвращаются пастухи, бывший днем на столе баран или поросенок делится между ними... Когда он женит кого-нибудь из своих внуков или выдает за муж внучку, то у него бывает пир на весь мир. Жарят сотни гусей в печах, целых баранов и быков на вертелах. Еще задолго до свадьбы готовится множество бочонков с водкой; во время самой свадьбы носят, кроме того, водку ведрами, на коромыслах, нарочно из самого дальнего кабака, че-

рез всю свободу. Это делается для того, чтобы побольше людей могло встретиться с несущими водку, выпить висящим на ведре корцом и пожелать новобрачным всякого добра.

Немало делал он добра и вообще для добрых людей. Известно, что в степях нет воды, а если и есть где природные водохранилища, то вода в них горькая и соленая и чрезвычайно вредная для человека; но стоит только выкопать рядом с таким водохранилищем колодец, то получается вода пресная и годная к употреблению. «Чтоб облегчить конным и пешим передвижение по этим пустынным степным дорогам, Захар Абрамович еще лет 15 тому назад выкопал для них в наиболее важных местах до 30 колодцев, обложил их камнем и каждый год ездит чистить и поправлять их. По этим дорогам он устроил во многих местах часовни, причем некоторые поставил у самых колодцев. Большинство часовен состоит из деревянных столбов, вкопанных в землю, с полками наверху и навесами над ними в виде треугольников. В этих часовнях, на полках или в нишах, стоят иконы и помещается провизия для путников, как то: пироги, яблоки, арбузы, дыни. Полки устроены таким образом, что ни собака, ни другое животное не может достать лежащей на них провизии. По праздникам у Захара Абрамовича печется огромное количество пирогов, начиненных сыром, капустой и мясом, и развозятся по часовням».

Словом, все, что сердечная доброта Захара Абрамовича и его огромное крестьянское богатство могли сделать хоро-

шего ближнему в крестьянской среде, все делал Захар Абрамович, не жалея своих достатков и щедро расточая их. И так тихо, чисто и уж истинно вполне благородно жил на свете крестьянин Земля, «Несмотря на свои преклонные лета, он всегда там, где больше работы, в которой он продолжает участвовать, не отставая от других».

Но в тот момент, когда он достиг такого удивительного крестьянского благосостояния, которое позволяло ему плодиться и множиться, наполнять землю и творить добро беспрепятственно, ему пришлось совершенно для него неожиданно сделаться огромным *денежным богачом*, и к богатству *трудовому* прибавилось богатство *денежное*.

Поселившись с своею семьей пятьдесят лет тому назад на степном приволье, Захар Абрамович понятия не имел о какой бы то ни было торговле и промышленности. «Продукты сельского хозяйства тогда еще не шли за границу. Поэтому большой бык стоил 5 копеек медью, четверть овса полторы копейки и ведро водки буквально грош. В то время русскому земледельцу и сельскому хозяину невозможно было обращаться в промышленника и наживать капитал. Он производил продукты почти только для себя, но зато жил в довольстве. Таково было общее положение сельскохозяйственных дел. Но вот, по ходатайству императорского Вольно-экономического общества (к сожалению, г-н Тимощенко не говорит, когда именно было такое ходатайство), разрешен был свободный пропуск хлеба и других сельских продуктов за

границу, и полились за море из России: пшеница, рожь, масло, сало, повалили туда кожи, шерсть, пух, щетина. Это было своего рода эпохой в жизни русских сельских хозяев. Цены на продукты разом страшно поднялись: рожь и озес стали продаваться по 2 руб. за четверть, бык 30–40 р. К Захару Абрамовичу налетела масса скупщиков и буквально завалила его деньгами; Захар Абрамович только протирали глаза от удивления, ахал и не знал, *куда девать деньги*. Он не выгонял на ярмарки рогатого скота и овец, не вывозил на рынок хлеба, но купцы сами приезжали к нему и привозили *целые мешки денег*. Тогда в этой местности совсем еще не было бумажек, а ходила только звонкая монета: народ не верил бумажкам и не принимал их». Захару Абрамовичу стали платить за его скот и хлеб золотом, серебром и медью, и Захар Абрамович буквально не знал, что делать с этими разного вида золотыми, серебряными и медными кружочками.

Сначала он велел своей жене заматывать золото в червонцах в клубки шерсти и пеньки и вешать эти клубки (иногда с решето величиной) на полатях, под крышей, на чердаке дома и в других местах. Стал класть золото в чулки, сумки, гаманы и запирали в сундук; серебро же и медь просто сыпал в сундуки. Через несколько лет денег у него накопилось столько, что *негде было уже хоронить*, и он порешил, наконец, не держать их при себе, а разделить поровну между тремя сыновьями и двумя зятьями. Как-то во время рождественских праздников он собрал всех своих и произвел дележ – золото

делили счетом, высыпая червонцы кучами на стол, серебро и медь *просто мерили хлебною мерой*, нагребая ее из сундуков. С этого времени раздел денег производился в семье каждый год в известное время.

Кажется, молодому-то поколению семьи Захара Абрамовича можно бы было изобрести что-нибудь поновее прятанья золота в чулки и попрacticalнее распорядиться им, но трудовой порядок жизни оказался до такой степени прочным, до такой степени удовлетворяющим решительно всем семейным, общественным, нравственным и умственным потребностям и надобностям, что и у молодого поколения просто-таки нехватало фантазии на что-нибудь и как-нибудь тратить эти огромные капиталы, которыми оно располагало.

«Сыновья и зятя Захара Абрамовича *берегли и прятали деньги разными манерами, как кто мог придумать*. Они сыпали их в закрома с хлебом; клали в горшки и закапывали их в разные места в землю; затыкали в соломенные и камышовые крыши домов и сараев; секретно от других домашних долбили и сверлили сохи, лестницы и бревна, валявшиеся на дворе, клали туда деньги и забывали; *запихивали их в бараны и бычачьи рога и бросали эти рога валяться среди двора как ни в чем не бывало*. У иного где-нибудь в укромном месте валялась *десятки лет* целая куча ни на что и никому не нужных бараньих рогов, и никто не мог думать, что они скрывают в себе. Из всех перечисленных мер хранения денег последняя, пожалуй, надежнее других. Деньги же, засыпанные

в закрома, часто *по забывчивости* вместе с зерном продавались купцам на меру; деньги, закопанные в землю, терялись совершенно, когда хозяин *забывал*, где зарыл, а это случилось очень часто. В крышах домов и сараев деньги еще чаще терялись, в бревнах и сохах они обнаруживались от гниения дерева, во время пожаров превращались в слитки»., *Так бились и горевали с деньгами степняки!*

Обилие денег не могло ни на волос прибавить в жизни всей этой огромной и обильной всяким достатком семьи самого малейшего удобства или вызвать в людях этой семьи какую-нибудь потребность, которая не была бы уже удовлетворена полнотою их трудовой жизни; обилие денег поэтому только томило их всех; они чувствовали, что в крышах, столбах, чулках, бараньих рогах, в закромах и сундуках лежит какая-то страшная, притягивающая внимание и раздражающая мысль сила, но что с нею делать – решительно не знали. Один из зятьев Захара Абрамовича, вероятно наслышавшись «от людей» о том, что деньги ходят под проценты, стал отдавать свои капиталы в рост разным торговцам, стал получать проценты, которые также неведомо было, куда девать, которые, так же как и капитал, прятались и хоронились разными способами. Опыт наживать деньги на процентах кончился тем, что торговец, вошедши в доверие, «занял сразу 25 тысяч и скрылся с ними». Потеря этой суммы, ни на единую йоту не отозвавшаяся на благосостоянии семьи этого человека, попробовавшего «что-то» сделать с деньгами, по-

казала ему только новую сторону огорчений, причиняемых деньгами. То ночей не спишь и ума не приложишь, куда бы их спрятать, то мучаешься, что пропали, а зачем собственно свалилась на бедные головы такая мука – неизвестно.

В последние годы Захар Абрамович надумал кое-что сделать с своими богатствами и нашел возможным не безвредно тратить из них, конечно, самую малую часть. В его большой семье грамота всегда была не редкостью; и мужчины и женщины в большинстве были грамотны, умели читать псалтырь, евангелие и умели, что потребуется по хозяйству, записать. В настоящее время Захар Абрамович решил подвинуть дело грамотности дальше: пятерых из своей семьи, трех внуков и двух внучек, он отделил и решил дать им самое лучшее образование: один из внуков его кончает теперь в университете, два – гимназиста, а две внучки – в институте. «На каникулы эти внучки ежегодно приезжают домой в степь и охотно участвуют в полевых и домашних работах».

Охотно или неохотно участвуют внучки-институтки в работах и доставляет ли им это какое-нибудь удовольствие, это вопросы, о которых мы разговаривать не будем, но попробуем представить себе, что Захар Абрамович поддался бы общему ходу жизни, то есть сначала отделил бы детей, а потом и сам помаленьку перебрался бы из трудового строя жизни в другой, купонный. Что бы из этого могло выйти?

Я думаю, что вышли бы вещи удивительно неожиданные и притом такого свойства, что уничтожили бы все обаяние За-

хара Абрамовича как образцового и благообразнейшего во всех отношениях человека; превратили бы эту благообразную фигуру богатого крестьянина, распространяющую вокруг себя тепло, жизнь и свет, в мрачную, беспощадную, алчную, ненасытимую фигуру *волка*, хотя (что особенно важно) сам Захар Абрамович оставался бы с теми же размерами личных требований, какие он в благоприятных условиях трудового строя жизни мог удовлетворять без капли зла, насилия и жестокости.

Затянуть Захара Абрамовича из трудового строя жизни в строй денежный могло бы самое ничтожное обстоятельство; судьба внука, окончившего университет и желающего сделать уже не деревенскую карьеру, могла бы показать Захару Абрамовичу силу и значение денег. Замужество внучки-институтки, конечно уж с не мужиком, а с благородным, еще более и скорее могло бы осветить ему широчайшие размеры значения денег и богатства. Попробуй он так же пышно, так же на славу «справить» хотя бы одну только внучкину свадьбу, справить так, чтобы радовалась его *любвеобильная* душа, чтобы все было по-хорошему, чтобы дом был полная чаша, чтобы ребята у внучки родились как ягоды, чтобы «нужды они не знали», чтобы ее в помине не было – словом, чтобы «не хуже, а лучше людей», – и вот уже безмерная *сила* денег, их всемогущество и безграничная потребность в них ясна ему, как день. *Все* надо купить! Для этого строя жизни нельзя взять из деревенского трудового строя ни одной

нитки; все, начиная буквально с нитки, здесь все нужное и *должно быть* купленное – таков строй; должно быть куплено *все*: одежда, пища, жилище, душевное настроение, должно быть куплено кормление детей, воспитание их, их здоровье, их ум – все, все, до последней иголки в доме должно быть взято на деньги, взято от кого-то другого.

Если бы Захару Абрамовичу только раз удалось «отведать» этой жизни, он бы почувствовал, что ему «обеими руками» нужно схватиться за свай набитый деньгами сундук, и он схватился бы за свое золото с жгучею страстью – *ему много надо*; он привык много чувствовать, широко распускать и удовлетворять свои *разнообразные* душевные требования, он привык, чтобы крутом его все жило, плодилось, множилась, цвело, было довольно, сыто, весело, – он привык, одним словом, чтобы его жизнь и жизнь окружающая была полным-полна, и представьте, что он, наконец, ясно, как день, увидел, что «в городе» для удовлетворения всех его широко развитых и многообразных физических и нравственных потребностей нужны, *только* деньги, и представьте себе, что он уже не в деревне, что он переехал в город, живет городским строем жизни, *сохраняя ту же широту и благообразие желаний*, которые он вполне удовлетворял в крестьянстве. Что он будет такое? Он будет тиран и зверь, беспощадный в удовлетворении своих *многообразных потребностей!* Только здесь *способы удовлетворения многообразных потребностей иные*. Если в крестьянстве Захар Абрамович, подкара-

уливая по ночам волков, не смыкая глаз, беспощадно бил их, ломая им ноги, чтобы они не портили скота, который нужен для семьи и для ее благосостояния, если в крестьянстве он привык *чутьем* чують погоду, дождь, или тем же чутьем он привык узнавать, больна ли у него скотина или здорова и т. д., то вся эта *тонкость в чутье*, ловкость в силе, осторожность в подсиживании, в подкарауливании и т. д. – все это, необходимое в деревне для достижения благосостояния и наилучшей обстановки источника благосостояния – *труда*, здесь, в городе, полностью, целостью перенесено будет Захаром Абрамовичем на здешний, городской источник благосостояния – на деньги, и, *почуя* их силу, он тотчас *почует* силу *банка*, векселя, кредита, оборота. Он *подкараулит*, как волка ночью, оплошность двойной итальянской бухгалтерии; он *нанюхает* течение и тон *господствующих* идей, руководясь которыми можно пробраться к источнику – к сундуку; он *нутром* поймет высокопоставленное лицо, от которого зависит путь к сундуку: не сказав с высокопоставленным ни слова, он *так*, как узнавал, больна или здорова лошадь, одним взглядом, *сам не зная как*, узнает, добр или сердит начальник, каким голосам говорить с ним и какие слова? И проберется и *то же*, что *теми же* средствами физическими и нравственными удовлетворял в трудовой деревенской жизни, удовлетворит и в этой, новой, городской жизни; но уж извините; если в конце концов окажется, что «зал заседания судебных установлений» не будет в состоянии вместить

более четырех человек зрителей, так как скамьями подсудимых и толпами свидетелей набито битком все здание суда. И всё родня: пятнадцать Андрюшек, двенадцать Аксюшек, три Марины да четыре Акулины. Расхищено денег миллионы, векселя перемешаны в этих «вещественных доказательствах» со счетами портных, акушерок... Свадьбы... приданое... зять, деверь, внучатный племянник...: троюродный внук... консамент... дебет... кредит... родила... завел любовницу... пожертвована икона... молебен... выписано пятнадцать стерлядей на свадьбу... умерла внучка – словом, налицо вся степь *с безграничным радушием и широким довольством и раздольем*, только вокруг этой степи кучи векселей, толпы нищих, ограбленных, обозленных, разоренных, лишенных куска хлеба.

Кстати сказать: этот-то тип человека с мужицкими потребностями, перенесенными в культурный строй жизни, и есть господствующий тип в русском скороспелом купонном обществе последней четверти столетия. Он проповедует широкое мужицкое семейство, тишь да гладь, чистоту, скромность и строгость нравов своей семьи, но, перенося эти требования в труженическую среду, не может не быть к ней беспощаден и жесток. Просмотрите все наши бесчисленные хищнические процессы – везде хищник и «живорез» только и хлопчет о благосостоянии своей семьи, родни. Рыков, разоривший вокруг себя массу народа, и разоривший без всякого сожаления, очень огорчился, когда вместо ожидаемо-

го мальчика у него родилась девочка. Даже доктора Битнаго-Шляхту, присутствовавшего при родах, возненавидел за неожиданную неприятность и «выслал» его из Скопина.

Нет, не так-то просто и легко удовлетворять *всем человеческим потребностям* в культурном строе общества, как дает возможность это делать строй жизни народной при обстоятельствах, не искажающих и не стесняющих свободы его развития. В своей статье о женщинах гр. Л. Н. Толстой говорит⁵⁴, что обязанности женщин *нашего круга* будут совершенно выполнены, если женщина будет родить и воспитывать детей. У меня нет под рукой сочинения Л. Н., но я очень хорошо помню, что выражение *женщина нашего круга* находится в статье о женщинах. Вот это-то выражение как нельзя лучше отделяет два строя жизни – культурный и народный, труженический и трудовой. И в том и в другом строе живут одни и те же полы – мужчины и женщины, но в народном строе может *родить всякая женщина*, может безбоязненно и бесстрашно исполнять все свои женские обязанности (если только строй не изуродован посторонними, не народными влияниями). Всякий парень, у которого есть руки и орудия труда, может «плодиться, множиться и населять землю» вместе со своею женой. Совершенно не то в культурном строе современного общества: *здесь не может* родить и вос-

⁵⁴ ...статье о женщинах гр. Л. Н. Толстой... – статьи Толстого «Женщинам» и «Выдержка из частного письма по поводу возражений на статью «Женщинам». Успенский их читал в издании «Сочинения гр. Л. Н. Толстого. Часть XII. Произведения последних годов. Изд. III, М., 1886».

питывать детей *всякая женщина*, здесь *всякий* мужчина не может быть отцом и *мужем*. Покуда он не имеет средств *купить* себе возможность удовлетворения всех своих потребностей ценою *труженичества*, он по совести не может решиться на такое трудное дело, как быть отцом семьи. Будучи тружеником из-за средств, он *должен* купить целую массу других тружеников для того, чтоб их руками было сделано то, что ему невозможно сделать самому, поглощенному добычей средств. Точно так же масса женщин, обладающих теми же самыми свойствами, как и *женщины нашего круга*, обречены строем жизни не иметь возможности быть матерями; *женщина нашего круга*, самая примерная и самая чистая, она – именно потому, что она женщина нашего круга, – она одна поглотит множество чужих женских жизней для того, чтоб ее *материнские надобности* были удовлетворены вполне, в тех размерах, в каких женщина народной среды удовлетворяет их без греха. Ей нужны няньки, горничные, учительницы, гувернантки, которым она в своем доме, в своей семье *не позволяет быть матерями*, которым нельзя быть матерями, потому что иначе они, труженицы, лишатся заработка. Примерная мать *нашего круга* не станет дожидаться, пока учительница, замужня, будет родить и поправляться после родов – она возьмет другую; она – любящая мать, и ей нельзя держать детей в праздности; она *не позволит* кормилице держать при себе ее собственного ребенка, а убедит ее отдать этого ребенка сначала в воспитательный дом, а потом и неиз-

вестно куда; ей не нужно ни кормилицы, ни ее ребенка – ей нужно молоко для ее собственного ребенка, она – *любящая мать*. Пропав у кормилицы от тоски по ребенку молоко – она тотчас же удалит ее, оставив без ребенка и без места, и, наградив за все это сарафаном, тотчас же возьмет другую – *ее* ребенку нельзя быть без молока. Да, она выполняет священные обязанности, она истинно любящая мать; но подумайте, во что обходится это выполнение священных обязанностей и сколько труженического народу поставлено строем жизни в полнейшую невозможность исполнять то же самое, то есть удовлетворять потребностям своего любящего сердца. Но человек-труженик насильно, наперекор строю, наперекор возможностям, стремится удовлетворять, так же как и все, всем своим потребностям. Вот в этом-то труженическом кругу, в его мучениях, в его лишениях, муках, болезнях, психических страданиях, преступлениях, и заключается современная драма жизни, которую не разрешить нравовучениями.

Теперь возвратимся к Захару Абрамовичу и порадуемся, что, как говорится, «бог спас» его от всего этого зла, и деньги, не отрывая ни его, ни его огромной семьи от прочно установившейся трудовой жизни, благодаря счастливой случайности направили его стремления не «в город», а по пути весьма своеобразных мечтаний.

Переворот в жизни Захара Абрамовича произошел благодаря встрече с неким учителем, Петром Ивановичем Волгой. «И только после этой встречи, – говорит г-н Тимощенко, – Захар Абрамович вполне сознал себя и свои стремления и весь, так сказать, пошел в ход». Петр Иванович Волга, уроженец какого-то волжского города, рано остался сиротой. Это лицо также довольно типично *для нашего времени*. Нет в нем ни громких фраз, не приходят ему в голову широкие фантазии, не знает он никаких социальных теорий и течений жизни, но у него простое и доброе сердце, опрятный и неомраченный ум, добросовестно воспринимающий впечатления жизни, и вот всего этого было весьма достаточно, чтобы в человеке родилась мысль о необходимости по-своему, как бог на душу положит и как хватит умения, служить народу и не дать ему пропасть зря. Петр Иванович Волга, оставшись сиротой после смерти его родителя, купеческого звания, был отдан в гатчинский сиротский институт, а по окончании курса назначен был уездным учителем также в один из приволжских городов, лежащих поблизости к калмыцкой степи. «В уездном городе прежде всего опротивел Петру Ивановичу тот напыщенный, кичливый, важный наружно, но в сущности ничтожный, пустой и бездельный чиновнический мирок, к которому Волга должен был принад-

лежать по своему званию. Все это были люди «двадцатого числа» и смотрели на уездное казначейство как на мать-кормилицу. Двадцатое число было днем получения жалованья, днем облегчения для этого мрачного мира. В этот день он сиял, кипел радостью, тогда как последние дни служебного месяца были днями унылой скорби и воздержания». Не по сердцу было Петру Ивановичу это общество, да и оно относилось к нему недружелюбно. Потребность одиночества развита была в Петре Ивановиче с детства. Отец его, добрый молодой купец, случайно простудился, бросившись спасать утопавшего в Волге, и умер рано; рано умерла и огорченная смертью любимого мужа мать. Затем сиротское и неприветливое житье в институте без всякого родственного участия – все это не располагало Петра Ивановича на дружество и приязнь с праздною компанией людей «двадцатого числа». Любя уединение, Петр Иванович любил свободное от занятий в училище время проводить за городом. Здесь, в одном уголке, завел он пасеку, но большую часть просто бродил по окрестностям, заводя знакомства с крестьянами, и «крепко полюбилась ему простота нравов и нравственная чистота этих людей, и у него явилось желание принять непосредственное участие как в радостях, так и в горестях и неудачах этого пастушеского и земледельческого круга, увлекавшего его упорством, терпением в труде и *осмысленностью его жизни*». Увлеченный этим трудолюбивым населением, он был до глубины души огорчен вторжением в

эти благословенные и не тронутые еще плугом места хищника и безжалостного расточителя народного богатства. «Что ждет в будущем эту красавицу-степь? Придет ли к ней хозяин-земледелец, с любовью возделает ее, насадит на ней садов и рощ, обольет ее своим потом и придаст ей еще большую жизненность и красоту? Или она падет жертвой экономической извращенности, попадет в заgreбистые руки жадного арендатора, лишится безвременно своей красоты и жизненной силы?» Действительность, которую видел Петр Иванович, не обещала ничего, кроме разграбления этих народных богатств. «Гибельное, ведущее к разорению края направление землевладения было понято Петром Ивановичем на первых же порах знакомства с местностью. Нужно видеть, с какою жадностью, с каким диким азартом хищники-промышленники наперебой гоняются на юге России за нетронутой степью. Быстро то там, то в другом месте истощают они ее и переходят в другое место. Причина такой гоньбы понятна: лен и золотистая тяжеловесная русская пшеница, которые так обильно произрастают на девственной почве, всегда высоко стоят в цене как на русских, так и на заграничных хлебных рынках, и ценная земля быстро обогащает жадно набрасывающихся на нее хищников. Арендатор-посевщик, взяв у земли все, что можно, обратив ее в ничто, бежит дальше и дальше и, не заботясь о ней, только высасывает ее жизненные соки. Столкнувшись с этим хищническим арендаторством, Петр Иванович почувствовал невыразимое огорчение; душа

его ныла, болела за родной край, за темный рабочий люд, составляющий земледельческое население этого края, которое издревле любило и любит эту землю, облитую его потом и кровью, которому царь-освободитель возвратил человеческие и гражданские права, но у которого тем не менее, стечением неблагоприятных обстоятельств, *отнималась всякая возможность свободного труда, как основы благополучия и счастья*». Под такими тяжкими впечатлениями действительности любовь Петра Ивановича к земледельцу и земледельческому труду привела его постепенно к такому решению: *выступить на борьбу с хищничеством, принести себя в жертву за народное благосостояние*, и в этой решимости Петр Иванович «наедине с самим собой» *дал великую клятву*.

Соединившись с Захаром Абрамовичем, оба они начинают осуществлять *на деле* свои заветные мечты! В произведении г-на Тимощенко читатели могут найти все подробности, в которых планы эти осуществлены и какими средствами. Многие оспаривали и оспаривают достоверность приводимых г-ном Тимощенковым фактов – и, оспаривая, находят, что произведение его только фантазия. Нам кажется такой взгляд на произведение г-на Тимощенко неосновательным, во-первых, потому, что при доброй воле добрых людей положительно можно совершить все то, что совершили герои г-на Тимощенко, а во-вторых, потому, что если бы даже г-н Тимощенко и ввел в рассказ некоторую долю своей фантазии, – так не она ведь имеет в его рассказе первенствующее значение. Фантазии его могут быть даже и не велики и не соблазнительны; но важно указание на то, что в обществе существуют попытки сохранить и укрепить строй жизни, не имеющий с строем жизни купонным ничего общего; что существует – и даже в людях самого простого звания, и даже необразованных – стремление поставить преграды купонным злам, оборониться от них, оградить от них народные массы.

В смысле осуществления этих желаний Захар Абрамович Земля и Петр Иванович Волга сделали даже очень немного.

Вот что рассказывает об этих делах на общую пользу г-н Тимощенков.

Прежде всего ими была скуплена на наличные деньги и на других выгодных условиях громадная масса земли. Эта покупка как бурей снесла также массы хищников на огромное пространство. В самом лучшем и красивейшем месте приобретенной (и постоянно расширяющейся) территории, по соседству с рекой Манычем, «создано» товарищами борьбы сельскохозяйственное, торговое и промышленное село, названное Школой. Названо оно так потому, что Петр Иванович, до момента своего обогащения не бросавший своей учительской деятельности и бывший в последнее время управителем школы для калмыцких детей, оставив службу, исходатайствовал право переделать, устроить эту школу по собственному плану и соображениям и перенести ее на новое место, на собственную землю, в плодотворнейшую равнину около широкого лога, с богатыми родниками прекрасной пресной воды. «Это даст возможность при каждой усадьбе иметь рощу, сад, цветник, огород». Школа эта из уездного училища преобразована в ремесленно-земледельческое, и в настоящее время «оно поставлено так, что все обучающиеся в нем ученики, тотчас по окончании курса, получают в управление фермы с полным хозяйственным обзаведением и владеют ими в качестве арендаторов; через несколько же лет успешного управления получают их, на особых правилах и условиях, в вечную и потомственную собственность».

«Страшный недостаток в глухой местности, где устроилось товарищество, в мастеровых и ремесленниках побудил последнее устроить при училище обширнейшие помещения для всевозможных ремесл. Часто при нужде в плотнике его нельзя было найти ближе ста верст; кожи возили для выделки за 300 верст, в Ставрополь, Астрахань и т. д. В ремесленных помещениях устроены мастерские: плотницкая, столярная, ткацкая, портняжная, сапожная, шорная, кузня, овчинная, кожевенный завод, валяльная войлоков и теплых сапог. В каждой мастерской работает артель, состоящая из мастеров-товарищей, подмастерьев и учеников. Каждый из окружающих жителей, какого бы возраста он ни был, волен поступить в какую ему угодно мастерскую, и его везде обязаны принять. Все ремесленники вместе с тем и земледельцы, имеющие в окружности школы и землю и хозяйство. Они летом работают в поле, а в ремесленные классы собираются к осени, когда кому более удобно».

Без убытка для товарищества основаны на общую пользу и другие учреждения. Выстроена паровая мельница, которая в экономическом отношении приносит уже «великие результаты». По недостатку мельниц мука ценилась здесь вдвое дороже зерна; бывали и такие времена, когда пуд ржи стоил 40 коп., а мука 3 р. 50 к. Паровая мельница, устроенная товариществом, стала обмалывать хлеб у населения верст на 200 в окружности. При этой же мельнице товарищество устроило складочные хлебные магазины, благодаря которым окрест-

ные крестьяне могли совершенно уничтожить свои обязательные для них хлебные магазины. «Хлеб магазинный большею частью считался всегда в недоимке; то же, что оставалось в магазинах, страшно портилось, утекало в щели, съедалось мышами, да и самые магазины обходились крестьянам дорого. Общества обязаны были их строить по особому плану, а в некоторых слободах и станицах приходилось строить по 4 и 5 магазинов, стоимостью от 5 до 9 тысяч. Товарищество Петра Ивановича вошло с ходатайством в местное земство, выразив желание всегда держать при мельнице сто тысяч четвертей хлеба в зерне и муке, который будет отпускаться при всяком нужном случае населению двух соседних уездов с надбавкой 10 процентов против покупной цены, то есть вообще дешевле той цены, которая должна быть в годы бескормья и нужды в хлебе. Ходатайство было уважено; магазины стали не нужны, и общества обратили в капитал как самые магазины, так и имевшийся в них хлеб».

Или вот еще две небезвыгодные для товарищества операции, вносящие в то же время и выгоду и благосостояние в народную жизнь.

«Прежде овечья шерсть сбывалась здесь промышленникам-скупщикам, которые брали ее почем хотели. Не только крестьяне, но и крупные овцеводы, при нужде денег на покос и другие полевые работы, продавали шерсть по 2 рубля за пуд, тогда как на рынке цена ей стояла 6–7 руб. Товарищество Петра Ивановича устроило мойку, где моет шерсть, а

потом отправляет ее на внутренние рынки внутренней России; тут же при мойке оно устроило склад шерсти на комиссию. Сдающие сюда шерсть получают во время сдачи половину рыночной цены, а потом по отправке и продаже получают и другую половину за вычетом процентов за расходы по комиссии. Таким образом, крестьяне вместо прежних 2 рублей получают теперь 6 р. 60 к. за вычетом 1 р. 40 к. расходов».

До учреждения товарищества местное население несло большие убытки при колебании цен на скот. Случалось, что цена за овцу, поднявшись до 7 руб., вдруг падала через полгода до 1 р. 50 к., тогда как цена на сало, мясо, овчину не изменялась. «Чтобы край ничего не терял от таких колебаний, товарищество Петра Ивановича устроило салотопенный завод, а относительно сбыта овец приняло такую систему: если цена на них высокая, то оно бьет на заводе только своих овец, и то по выбору, а остальных продает; если же цена на овец падает, то оно бьет на сало и своих и овец окрестных крестьян, то есть дает возможность крестьянам продавать не овец, которые дешевы, а сало, которое в цене. Иногда, перебив всех своих овец, оно отдает весь свой завод с посудой в распоряжение крестьян».

Как видит читатель, все эти попытки далеко не фантастические; всего этого даже мало для того, чтобы окрестить эти попытки названием *борьба*. Но дорого и важно стремление вступить в эту борьбу. В тех же степях и те же деньги, как

мы видели в предыдущих «письмах с дороги», орудуют совершенно иным образом: истощают землю, закабаливают народ. Еще более замечателен источник, из которого вышло такое животворящее направление, – любовь к трудящемуся человеку у Петра Ивановича и любовь к широкой трудовой жизни у Захара Абрамовича. Петров Ивановичей и Захаров Абрамовичей на Руси несметное множество, и пренебрегать или обречь теоретически на гибель как любовь таких оригиналов к трудящемуся человеку, так и любовь к трудовой жизни едва ли возможно в массе простых русских людей, на наших глазах едва только начинающих жить сознательно.

Примечания

Печатаются по последнему прижизненному изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Третье издание Ф. Павленкова. СПб., 1889.

В своей наиболее полной последней редакции 1889 года «Письма с дороги» представляют собой самый крупный публицистический цикл очерков Успенского второй половины 80-х годов, проблематике которого сам писатель придавал большое значение; над окончательным оформлением этих «Писем» он много работал.

Творческая история цикла «Письма с дороги» очень сложна: в Сочинениях он сложился из ряда ранее написанных циклов очерков, которые целиком не были включены автором в его Сочинения. Новый цикл вобрал в себя отдельные части цикла «Письма с дороги» 1886 года, часть очерков цикла «Мы» на словах, в мечтаниях и на деле» 1887 года, страницы из первого очерка цикла «Несбыточные мечтания» 1885 года, два очерка из цикла «Очерки русской жизни» 1885 года и отдельный очерк «Трудовая жизнь» и «труженичество» 1887 года. При перепечатке почти все очерки подверглись большой переделке, а некоторые из них были переписаны Успенским заново. О принципе переработки Успенский говорит сам в предисловии ко второму изданию Сочинений (т. I, 1889): «Ввиду того же желанья – дать каждому

тому более или менее определенное содержание – я и в настоящем издании вместо буквальной перепечатки «Писем с дороги», которые писались мною в течение трех лет и составили бы не менее двух томов объема первого издания, – исключив из них частые повторения об одном и том же вопросе, неизбежные при повторении этих явлений в дорожных встречах разных лет и разных мест, – выбрал из этих писем только то, что казалось мне наиболее заслуживающим внимания, а то, что в письмах этих не могло быть проверено личным наблюдением, дополнил на основании материалов, которые могла дать местная провинциальная пресса».

Именно такой творческой переработке Успенский подверг «Письма с дороги», напечатанные впервые в восьми фельетонах в «Русских ведомостях» 1886 года (№ 110 от 24 апреля, № 113 от 27 апреля, № 122 от 6 мая, № 127 от 11 мая, № 134 от 18 мая, № 147 от 1 июня, № 153 от 7 июня, № 163 от 17 июня)⁵⁵. В Сочинениях они составили *первые четыре главы* («Веселые минуты», «Дополнения к предыдущей главе», «Люди всякого звания» и «Мирошник») новой редакции «Писем с дороги». Эти «Письма» появились в результате поездки Успенского на юг, продолжавшейся с марта до середины июля 1886 года. Писатель ездил по Северному Кавказу, был на кавказском побережье, в Крыму, в Одессе, Севастополе; он путешествовал и по железной дороге, и на лошадях

⁵⁵ В этой редакции «Письма с дороги» напечатаны в издании: Г. И. Успенский. Полное собрание сочинений, т. X, часть первая, изд. АН СССР, 1953.

по станицам, и на пароходах по Кубани и вдоль берега Черного моря. Причиной этой поездки Успенского было стремление к более широкому и разностороннему изучению русского народа. «Здесь столько выкинуто из России преоригинальнейшего русского народа, что просто глаза разбегаются», – пишет он с дороги 7 апреля 1886 года В. М. Соболевскому (т. XIII, стр. 501). «Письма с дороги» были наполнены непосредственными свежими наблюдениями над природой, экономикой и народонаселением Кавказа. Успенский фиксирует явления проникновения капитализма на Кавказ – и в развитии железнодорожного и промышленного строительства, и в сельском хозяйстве (табачные и пшеничные плантации), и в появлении, с одной стороны, дельцов разного типа, «агентов» капитала, и, с другой стороны, «нарождающегося пролетариата». Вместе с тем он правильно отмечает замедленность промышленного развития Кавказа; на запоздалость экономического «завоевания» Кавказа указывал и Ленин, ссылаясь при этом на Успенского⁵⁶. Свои внимательные наблюдения Успенский подтверждал и дополнял печатными документальными данными, которые он черпал из книг, журналов и газет того времени, с цитатами и ссылками на соответствующую литературу. Кроме того, «Письма с дороги» являлись не просто «путевыми заметками» – они включали в себя и основную проблематику творчества Успенского в те годы, выраженную главным образом в ряде интерес-

⁵⁶ В. И. Ленин. Сочинения, т. 3, стр. 520–521.

ных и важных отступлений от основного текста – изложения путевых впечатлений.

Слова Успенского о коренной творческой переработке газетного текста «Писем с дороги» для Сочинений подтверждаются сохранившейся в архиве писателя полной наборной рукописью повой редакции: половина текста написана рукою писателя заново, рукописный текст перемежается столбцами печатного текста из «Русских ведомостей», наклеенными на листы почтовой бумаги, с большой авторской правкой и вставками на полях. Успенский произвел большую работу по изменению композиции цикла, стремясь к более стройному логическому расположению материала, объединению его вокруг основных тем цикла и устранению всего случайного, злободневного. Весь текст ранней редакции писатель основательно и тщательно выправил стилистически, характеристики «оригиналов», «мечтателей» и «фантазеров» стали острее и получили иронический отпечаток. Успенский внес ряд дополнений: в первую главу «Веселых минут» он включил, во-первых, в сокращенном виде выброшенные цензурой из рассказа «После урожая» страницы, содержащие в себе оценку чиновничьего Петербурга с его бюрократическим отношением к народным нуждам страны, и, во-вторых, заново написанные страницы с характеристикой пустопорожности «внутреннего отдела» петербургской газетной прессы; в главу II «Дополнения к предыдущей главе» Успенский ввел рассуждения о бесправии, социальном неравенстве и угне-

тении личности, царящих при «купонном» строе, – эти страницы написаны Успенским на основании материалов книги Летурно «Эволюция морали» и сборника «К решению женского вопроса»; сюда же в сокращении был помещен очерк «По-хорошему и по-худому» из цикла «Мы» на словах, в мечтаниях и на деле», в котором разбирается драма Л. Н. Толстого «Власть тьмы». Однако в связи с иными задачами нового цикла «Писем с дороги» в целом, а отчасти из-за боязни цензурных осложнений Успенский многое исключил в последней редакции и отказался от ряда важных и острых в политическом отношении частей «Писем с дороги» 1886 года. Так, оказались исключенными: замечательная исповедь, имеющая автобиографический характер, интеллигента-шестидесятника, дожившего до эпохи реакции; отступления с воспоминаниями о самоотверженной работе в деревне народников-пропагандистов 70-х годов; намеки на деятели революционного народничества. Кроме того, в последнюю редакцию не вошли и упоминания о печальных результатах крестьянской «реформы» 1861 года, строки о нищих переселенцах, о рвении приставов по взыскиванию с крестьян долгов, о разговорах среди крестьян по поводу нового размежевания, о лондонских «беспорядках», о рабочих стачках и усмирении рабочих «военными командами»; исчезли и страницы полемики Успенского с правыми народниками, славянофилами и толстовцами, обращение к молодым писателям с призывом отражать в своих произведениях

жизнь народа и с резкой критикой дворянской и буржуазной литературы; остались не включенными и ряд строк из дорожных впечатлений описательного характера. Вместе с тем, благодаря всем этим сокращениям и ряду дополнений, ярче выделилась основная тематика этих первых четырех глав нового цикла: с одной стороны, обличение бюрократизма, антинародности и продажности всех государственных институтов царской России; с другой стороны, усиление критики капитализма с противопоставлением ему идеального (утопического) трудового народного строя. Эта новая редакция первых глав «Писем с дороги», прежде чем появиться в Сочинениях, была напечатана в «Русской мысли», 1888, IV, V, VII и VIII.

Главы «V. Человек, природа и бумага», «VIII. Мелкие агенты крупных предприятий» и «IX. Рабочие руки» ранее были напечатаны в цикле очерков «Мы» на словах, в мечтаниях и на деле», появившемся в «Русских ведомостях» 1887 года (в Сочинения целиком не вошел). Этот цикл возник как продолжение очерков «Письма с дороги», недаром сам Успенский позднее называл оба эти цикла «письмами с дороги разных лет» (в предисловии ко второму изданию Сочинений 1889 года). По авторскому замыслу очерки «Мы» на словах, в мечтаниях и на деле» должны были показать русское общество конца 80-х годов («Мы») во всех его социальных прослойках и на всех поприщах его деятельности – политическом, общественном, культурном. Однако интерес-

ный замысел не был осуществлен полностью ввиду цензурного искажения и запрета многих очерков цикла, затрагивающих «опасные», с точки зрения цензуры того времени, темы в области внутренней и внешней политики русского правительства⁵⁷. Из цикла «Мы»...» в Сочинения вошли вновь проредактированные самим автором для цикла «Письма с дороги» только те очерки, в которых затрагивались либо темы, связанные с критикой правительственного бюрократизма, в частности в крестьянском переселенческом движении («Человек, природа и бумага» и «Мечтатель, доверившийся бумаге»), либо с развитием капитализма в России («Мелкие агенты крупных предприятий», «Рабочие руки», часть очерка «По-хорошему и по-худому» – анализ драмы Л. Н. Толстого «Власть тьмы»).

Очерк «V. Человек, природа и бумага» печатался сначала двумя отдельными главами: «Человек, природа и бумага» («Русские ведомости», 1887, № 19 от 20 января и № 22 от 23 января) и «Мечтатель, доверившийся бумаге» (там же, № 50 от 21 февраля); в последний очерк вошла история мещанина Данкова. Сохранились два рукописных отрывка и два варианта корректурных гранок очерков для «Русской мысли», где они появились ранее (1888, IX), до выхода в свет Сочинений. При перепечатке Успенский существенно

⁵⁷ Цикл «Мы» на словах, в мечтаниях и на деле» полностью напечатан в издании: Г. И. Успенский. Полное собрание сочинений, т. X, часть вторая, изд. АН СССР, 1954.

изменил первый очерк; это коснулось прежде всего композиции. В газетном тексте тема очерка развивалась в следующем порядке: изложение статьи Ядринцева о вольных переселенцах – алтайцах, разговор приятелей о «бумаге» и изложение статьи Шаврова о заселении черноморского побережья. В Сочинениях разговор о роли и значении «бумаги» в российском государстве, как главную тему, Успенский поставил в начало очерка и затем иллюстрировал эту тему двумя противоположными примерами – вольными переселениями, «без бумаги», крестьян (из статьи Ядринцева) и принудительными правительственными переселениями (из статьи Шаврова). Мало того, Успенский еще значительно расширил очерк, написав вновь начало – о мытарствах русских переселенцев со сравнениями положения переселенца и эмигранта: этот текст является творческой переработкой первого очерка из цикла «Несбыточные мечтания», не вошедшего целиком в Сочинения. Кроме этих основных изменений, Успенский сделал еще ряд сокращений и добавлений в тексте, причем автор стремился к замене отдельных слов и выражений, которые могли бы обратить на себя внимание цензуры, особенно в строках о жестокости правительственных распоряжений, «бумаги», в отношении к «несчастному элементу» – переселенцам. Однако основное содержание очерка, заключающееся в изображении бездарности, антинародности и бездушия царского административного аппарата в осуществлении и организации крестьянского переселенче-

ского движения, от «осторожности» писателя мало пострадало. Весь текст Успенский подверг большой стилистической правке.

Четвертая, заключительная глава очерка «Человек, природа и бумага», в газетной редакций имевшая особое название «Мечтатель, доверившийся бумаге», в рукописи до нас не дошла, а в Сочинениях была перепечатана автором из «Русских ведомостей» почти без изменений, за исключением двух-трех сокращений и изменений цензурного характера, сделанных с разрешения Успенского редактором «Русской мысли» В. А. Гольцевым. В этой главе, уже на материале современности, показано то же равнодушие властей к нуждам крестьян и та же неорганизованность аппарата управления, расхождение между тем, что говорится в «бумаге», и тем, что творится в действительности. Процесс мещанина И. В. Данкова, обвинявшегося в «склонении крестьян к переселению», обмане и вымогательстве у крестьян, слушался 28, 29 и 30 ноября 1883 года на сессии курского окружного суда и подробно излагался во всех газетах за первую половину декабря 1883 года, Успенский в своем очерке воспользовался не только газетными заметками, но и целым рядом документов, которые сохранились в его архиве (свыше семидесяти листов): выписки из судебного дела, копия обвинительного акта, показания Данкова, выступления прокурора и защиты, выписки из показаний крестьян на суде; телеграммы Данкова, Никифораки, курского губернатора, удостоверение

начальника Черноморского округа, выданное Данкову; выписки о льготах для переселяющихся крестьян из «Положения о заселении Черноморского округа» 1866 года; «Частная жалоба» от 23 марта 1883 года Е. К. Данковой на имя «обер-прокурора Правительствующего Сената» с изложением дела ее мужа и свидетельствами о бедственном положении его семьи, и т. д.

Из цикла «Мы» на словах, в мечтаниях и на деле» в «Письма с дороги» при редактировании их для Сочинений вошли еще два очерка: «*Мелкие агенты крупных предприятий*» и «*Рабочие руки*». Рукописи обоих очерков не сохранились. Очерк «Мелкие агенты крупных предприятий» был сначала напечатан в «Русских ведомостях» 1887 года, № 254 от 15 сентября, с пропущенным по вине редакции общим заглавием цикла «Мы...»; с неполным заглавием цикла очерк «Мы. Рабочие руки» появился там же, № 259 от 20 сентября. В Сочинения очерки вошли с небольшими изменениями и сокращениями; слово «капитал» Успенский заменил словом «купон», имеющим настолько меткое образно-сатирическое значение, что оно вошло в обиход и не раз употреблялось Лениным в его статьях со ссылкой на Успенского.

Оба очерка построены на материале наблюдений Успенского во время его поездки по Волге и Дону во второй половине июля и первой половине сентября 1887 года. Успенский считал, что эти очерки в какой-то мере открывали новую линию проблематики в его творчестве. В письме к редактору

«Русских ведомостей» В. М. Соболевскому в октябре 1887 года писатель сам сообщает об этом: «...я теперь поглощен хорошей мыслью, которая во мне хорошо сложилась, – *подобрала и вобрала в себя* множество явлений русской жизни, которые сразу выяснились, улеглись в порядок. Подобно *власти земли* – то есть условий трудовой народной жизни, ее зла и благообразия, – мне теперь хочется до страсти писать ряд очерков «Власть капитала». Два фельетона, которые вы напечатали, это только образчик того, что меня теперь занимает...» С конца 80-х годов явления капитализма настолько занимают Успенского, что становятся основной проблемой его творчества и основным мерилom в освещении вопросов русской жизни. Уже в этих двух очерках писатель выказывает острую наблюдательность в фиксировании различных сторон явлений капитализма. В очерке «Мелкие агенты крупных предприятий» он искусно нанизывает на острие сатиры различных «агентов» капитала в их многообразных обликах. В очерке «Рабочие руки» он показывает другую категорию людей эпохи капитализма – «человека-верблюда», жертву развития капиталистических отношений; Успенский уже не верит в возвращение к крестьянской жизни этих «рабочих рук», вместе с тем писатель отмечает и нарастание в рабочих народного гнева, стихийного протеста против эксплуатации, считая его еще только «началом» дальнейшего развития рабочего движения. В рассуждениях о «фазисе» Успенский обнаруживает знакомство с марксистскими работами о

капитализме, но его интересует здесь, в основном, морально-этическая сторона – разрушающее действие капитализма на человеческую личность. Полное признание «власти капитала» в России с сознанием всех неизбежных противоречий, которые он с собою несет, далеко уводило Успенского от народников. Несмотря на мрачные выводы о губительном воздействии на трудящихся «власти капитала», этот очерк замечателен и глубоким оптимизмом в его страницах, посвященных русскому народу, – как в сценке среди моряков на пароходе, где вскрываются обаятельные качества «живой детской души» трудового человека, его жизнерадостность и добродушие, так и в картине работы крестьянских женщин, рисующей жизнеутверждающую красоту труда, поэзию труда. Здесь сказались и эстетические взгляды Успенского, идущие в своей основе от Чернышевского («Прекрасное есть жизнь»), наиболее яркое выражение которых мы находим в очерке «Выпрямила» (см. выше).

Рассказывая в предисловии ко второму изданию Сочинений (т. I, 1889) о новой редакции цикла очерков «Письма с дороги», Успенский писал: «...то, что в письмах этих не могло быть проверено личным наблюдением, дополнил на основании материалов, которые могла дать местная провинциальная пресса. В этих именно видах я и ввел под общую рубрику «Писем с дороги» три компилятивные дополнения (главы VI, VII и X), более подробно уясняющие такие явления жизни, которые пишущему «с дороги» нет возможности

пополнить личным наблюдением».

Две из этих «компилятивных» глав – VI. *Обилие «дела»* и VII. *«Скучненько!»* – сначала входили (первая – под названием «Якобы «дела»») в цикл «Очерки русской жизни», который Успенский в Сочинениях не сохранил. Весь цикл состоял из трех очерков с подзаголовком «Наблюдения и компиляции» и печатался в «Русской мысли» (1885, VIII, IX и XI); кроме названных выше, в цикл входил очерк «Дохнуть некогда», который в Сочинениях был перепечатан в группе еще двух других очерков (в настоящем издании см. т. VI). Задачей цикла «Очерки русской жизни» являлось освещение основных социальных явлений жизни России на основании большого количества провинциальных периодических изданий; главной темой очерков была тема интеллигенции и ее отношения к народу. Очерки «Якобы «дела» и «Скучненько!» вошли в Сочинения, в цикл «Письма с дороги», с небольшими изменениями и сокращениями. По своему содержанию оба очерка органически входят в цикл «Письма с дороги». Очерк *«Обилие «дела»* является продолжением очерка «Человек, природа и бумага», показывая действие «бумаги», как говорит сам Успенский, «не в таких экстренных делах, как колонизация и возрождение жизни на безжизненных местах, а в обыденных условиях нашей жизни». Успенский с горечью говорит здесь о служащей интеллигенции в деревне, которая, соблюдая интересы правительства и буржуазии, завалена «обилием» бумажных

«якобы дел» против крестьян, причиной большинства преступлений которых является «простая невозможность существовать, невозможность позорнейшая для России, где земельные порядки должны быть на первом плане...» (письмо Успенского к В. А. Гольцеву от 29 сентября 1885 года по поводу этого очерка – т. XIII, стр. 479). В очерк «Скучненько!» вошел, по словам самого писателя, «материал о пустоте деятельности современной провинциальной интеллигенции» (то же письмо Успенского к В. А. Гольцеву). Бичуя отступничество буржуазной интеллигенции 80-х годов от дела народа, Успенский обращает ее внимание на возникший и в России «всемирный вопрос» – пролетаризацию деревни; вместе с тем очерк заканчивается оптимистическими строками о прекрасных душевных качествах русского народа – бескорыстной доброте, коллегиальности, стремлении к «благообразию и справедливости человеческих отношений».

Третья «компилятивная» глава – X. «Трудовая» жизнь и жизнь «труженическая» – была напечатана сначала как отдельный очерк в «Русской мысли», 1887, IX, под заглавием «Трудовая жизнь» и «труженичество». (Литературные и общественные заметки)». Рукопись до нас не дошла, но сохранились два варианта гранок очерка, и первый из них – со значительными расхождениями по сравнению с журнальным текстом. Успенский сначала предполагал (см. его письмо к В. А. Гольцеву от 16 июля 1887 года) написать статью, «касающуюся двух литературных произведений», – именно, «По-

смертных записок» Н. И. Пирогова и книги И. Тимощенко-ва «Борьба с земельным хищничеством. Бытовой очерк юго-востока России» (Успенский был знаком лишь с частью его книги, впервые напечатанной в «Нови», 1886, №№ 19–21). Однако благодаря большим сокращениям, произведенным Успенским, в корректуре, в журнальном тексте о «Записках» Пирогова говорилось очень мало. Кроме того, Успенский и в изложении книги И. Тимощенко-ва сделал сокращения, наибольшее из них – гиперболические описания необыкновенных способностей слепого Софрона и необычайной силы Игната Ковылы. Кроме этих крупных купюр были сделаны и другие сокращения и добавления в тексте, а также из цензурных соображений были вычеркнуты или заменены отдельные слова и выражения.

Для Сочинений Успенский еще раз заново, коренным образом переработал статью и сделал это, в основном, под влиянием критики, развернувшейся как вокруг его статьи, так и по поводу книги И. Тимощенко-ва. Дело в том, что Успенский в книге Тимощенко-ва нашел подтверждение своих «мечтаний» (см. главу «Веселые минуты») о возможности независимого и обеспеченного существования «трудами рук своих», «на всей своей воле», и о возможности устройства ремесленно-земледельческого всеобщего училища с большим количеством всевозможных мастерских на артельных началах и с коллективными промышленными предприятиями. Всё это заставило Успенского придать книге Ти-

мощенкова положения и выводы, которых она в себе не заключала, помешало писателю усомниться в фактах, приводимых Тимощенковым, и обратить внимание на несообразности, фантастику в изображений явлений природы, в характеристиках и поведении действующих лиц.

Критика заставила Успенского многое пересмотреть в своей оценке книги Тимощенкова. Периодическая печать разных лагерей недоверчиво отнеслась к сведениям, сообщаемым Тимощенковым, с книгой которого критики познакомились либо через статью Успенского, либо в отдельном издании ее в 1888 году. Так, Н. Ладожский в «СПб. ведомостях» (1887, № 313, 13 ноября), говоря в иронических тонах о героях произведения Тимощенкова, заявил, что Тимощенков и Успенский создают в России «какие-то невиданные экономические законы». Рецензент «Недели» (1887) также выразил свое смущение рассказами Тимощенкова об орлах, табунщиках, калмыках, слепых и т. д. Особенно важной для Успенского была полемика между Н. К. Михайловским и А. М. Скабичевским после появления отдельного издания книги Тимощенкова в 1888 году с предисловием Скабичевского, написанным в восторженно-панегирических тонах по отношению к книге, в которой он находил и поэзию, и «новую программу деятельности среди народа», и «широкие и вполне практические идеалы». Михайловский («Северный вестник», 1888, I) резко и ядовито отозвался как о вступительной статье Скабичевского, так и о произведении Тимощен-

кова, наполненном, по его мнению, «чудесами природы» и «чудесами общественного характера». Здесь же Михайловский категорически отделяет от книги Тимощенкова статью Успенского, смысл которой он видит в противопоставлении «трудовой жизни» – «труженичеству»; вне зависимости от характера материала, иллюстрирующего эту статью. Скаби-чевский отвечал Михайловскому (в «Новостях», 1888, № 7, 7 января), упрекая его в том, что он проглядел достоинства книги Тимощенкова, и ссылаясь, между прочим, на статью Успенского. Михайловский продолжил полемику (в «Северном вестнике», 1888, II), издеваясь над «идеями», заложенными в очерках Тимощенкова, особенно над «идеалами Браги», которых, кстати, Успенский не касался. Не могла не смутить Успенского и рецензия на книгу Тимощенкова в «Русской мысли», 1887, XII (отдел библиографии); автор ее протестует против наукообразной формы подобных произведений, вводящей в заблуждение «легковерных людей», которые отправляются в калмыцкие степи к героям Тимощенкова и никого там не находят, так как в действительности они не существуют.

Статья Успенского заинтересовала и молодого Горького, который написал Успенскому письмо из Нижнего Новгорода (без даты, вероятно 1887 год) со следующей просьбой: «Не можете ли сообщить адрес г. Тимощенкова, автора книги «Борьба с земельным хищничеством». Или – еще лучше, не известно ли вам, как велика доза правды в этой книге, т. е.

существуют ли Земля и Брага – и если существуют, то как и где таковых отыскать. Весьма возможно, что таким сообщением вы укажете путь десятку-другому парней, желающих приложить свои силы к честному и полезному делу» (впервые напечатано в «Голосе минувшего», 1915, VII–VIII, стр. 211).

Все эти отзывы и письма не могли не отразиться на характере переработки очерка для Сочинений. В новой редакции очерка писатель уже говорит о произведении Тимощенкова не как о «бытовых очерках», не как о фактах, существующих в действительности, а как о безнадежных, но хороших «мечтаниях» в поисках более справедливого строя общества. В этом направлении и идет переработка всей статьи. Первую главу Успенский пишет заново – она вся посвящена оправданию его «мечтаний», как протеста против существующих условий буржуазного строя; из нее исчезают и остатки цитат и рассуждений о «Записках» Пирогова. Изменением отдельных фраз и рядом вставок Успенский подчеркивает на протяжении всей статьи, что в книге Тимощенкова говорится не о существующем, а о некоем идеальном бытии, а если и существующем, то случайном, не типичном; Землю и Волгу он называет теперь «оригиналами»; многое сокращается из описаний деяний Волги, в частности страницы о фантастическом наживании им миллионного капитала; вычеркиваются страницы с гиперболизированными образами помощников Земли и Волги – калмыка Эле Сенаторо-

вича, крестьян Хмары и Ковылы. Основная мысль, которую Успенский здесь проводит, – мысль о том, что в книге важны не фантазии Тимощенкова, а «важно указание на то, что в обществе существуют попытки сохранить и укрепить строй жизни, не имеющий с строем жизни купонным ничего общего». Успенский заблуждался и в оценке книги Тимощенкова и был утопичен в своих поисках путей к новому строю общества, но этой прогрессивной гуманной мыслью – противопоставлением своего идеала «справедливого» трудового народного строя жизни существующему несправедливому буржуазному строю с его эксплуатацией, классовыми ограничениями, подавлением личности и нуждой неимущих классов – Успенский сам оправдывает написание и переиздание своей статьи.